

Я. С. КИСЕЛЕВ

# Судебные речи



ЛЕНИЗДАТ — 1967

Я.С. КИСЕЛЕВ

# СУДЕБНЫЕ РЕЧИ

ЛЕНИЗДАТ • 1967



## С Л О В О   О Б   А В Т О Р Е

*Чем больше живешь на свете, тем чаще встречаешь старичков в двадцать пять — тридцать лет и молодых людей, которым даже сильно за шестьдесят.*

*Адвокат Яков Семенович Киселев, на мой взгляд, так же молод, как в те годы, когда он был конником Буденного и, отвоевавшись, вернулся в Москву поступать на правовое отделение факультета общественных наук.*

*Совсем иной была тогда Советская власть, молодым человеком был Киселев, только-только создавалось, возникало уголовное советское право, не было ни процессуального, ни уголовного кодексов.*

*Конармейская юность сменилась службой в другой армии, в той, где судили по социалистическому правосознанию.*

*В молодой Советской стране судили молодые судьи, защищали молодые адвокаты, обвиняли юные прокуроры. Они выглядели по-военному: никто еще не снял гимнастеров.*

*Тогда слушалось дело коменданта города Ленинграда, из ревности застрелившего свою жену. Матрос, человек, десятки раз смотревший смерти в глаза, никогда не лгавший, упорно отрицал свою вину. Прокурор требовал для подсудимого расстрела.*

*Прежде чем дать последнее слово подсудимому, председатель обратился на «ты»:*

*— Послушай, я тебе твердо говорю: как ты скажешь, так и будет сделано. Если скажешь, что ты не виновен, тебя оправдают. Если скажешь — виновен, осудят, но если ты виновен и скажешь, что не виновен, живи, зная, что ты обманул свою власть, ту власть, за которую ты боролся. Живи с сознанием, что ты ничтожество и трус.*

*Все, что сказал председатель, не соответствовало процессуальным законам, но в том, как он сказал, было*

столько веры в человека, что подсудимый поднялся и произнес:

— Я убил свою жену.

В Ленинграде Киселев был одним из самых молодых адвокатов. Выступая на процессах, он не страдал ни напыщенностью, ни витиеватостью, ни сентиментальностью. Он был подлинным советским адвокатом, адвокатом, который воевал за Советскую власть клинком, а теперь воевал за нее, защищая права советского человека. Это была нелегкая работа. В те годы считалось, что советский суд заинтересован в том, чтобы советских людей судить правильно, и незачем защищать подсудимых от советского суда. Эти взгляды надо было побороть. И молодой Киселев яростно доказывал несостоятельность взглядов противников адвокатуры. В конце концов, медленно и очень трудно, в молодом Советском государстве утвердилась правильная мысль о том, что состязательность процесса является единственной гарантией справедливого приговора.

Знаменитый в те годы ленинградский судья Петр Иванович Березовский — рабочий-гвоздильщик, человек непосредственный, необыкновенно нравственно чистый и предельно искренний, хотя и необразованный — одним из первых оценил значение адвокатуры в суде.

Однажды в третьем часу ночи он позвонил Киселеву и сказал:

— Я дал человеку тяжелый приговор и боюсь — ошибся. У него слабый защитник, не смог вскрыть мои ошибки. Очень тебя прошу, Яков Семенович, приходи завтра в суд, познакомься с делом и напиши на меня кассационную жалобу. Надо, чтобы все было по справедливости. Мы же — советский суд.

Не менее знаменитый в те годы судья Старш, рабочий человек, с прирожденным чувством справедливости, настолько талантливо умел вникать в суть процесса, что, построив здание совершенно самостоятельно, из, так сказать, строительных материалов, предоставленных ему защитой, он оправдал всех 28 подсудимых, признав, что хоть они и сознались, в чем их обвиняли, но в их действиях нет состава преступления.

Адвокатская молодость Я. С. Киселева, его возмужание как юриста, как правозащитника проходили в годы становления советской законности. Практика и по-

вседневная деятельность судов тех лет давала огромные возможности для закалки характера будущего знаменитого адвоката.

Сталь закаляется в огне. В огне боев гражданской войны начал закаляться характер Киселева-гражданина. Такие учителя, как Анатолий Васильевич Луначарский, постоянный, не гаснущий горячий интерес к вопросам правосудия, судебной практике, к вопросам причин, повлекших за собой преступление, товарищеские отношения с замечательными судьями, такими, как Березовский, Старш и многие другие, — с людьми высокой партийности и вытекающей из нее принципиальности и нравственности, — полностью сформировали характер Киселева.

Казалось бы, что мог сделать адвокат в ежовско-бериевские периоды бесправия адвокатуры? Однако же Яков Семенович Киселев всегда оставался бесстрашным защитником правды и справедливости и всей своей деятельностью доказал, что подлинную веру порядочного человека и справедливость сломать невозможно и что боец всегда остается бойцом.

...Когда в Ленинграде оклеветали и арестовали редактора «Красной газеты» Сыркина, два молодых, приятной внешности человека попросились к старой матери осужденного редактора квартирантами. Хорошая квартира начинающим негодьям чрезвычайно понравилась. Подошла и обстановка, и, посоветовавшись между собой, они решили отправить в тюрьму и старушку. С этой целью «приятные» молодые люди написали донос о том, что Сыркина скрывает у себя контрреволюционную литературу.

Изучая дело, Киселев выяснил, что библиотека Сыркина состояла из нескольких тысяч томов, а обыск длился всего четыре минуты. Книги были обнаружены в диване. Дело старушки Сыркиной слушалось трижды. В третий раз суд привлек к ответственности «приятных» молодых людей, подбросивших контрреволюционную литературу.

Так в те нелегкие годы невинная женщина была освобождена, а молодые, но многообещающие негодяи понесли заслуженное наказание.

И так день за днем, так дело за делом. И ничто не могло отвлечь его от выполнения своего долга. Он и

не чувствовал себя ни героем, ни избранником судьбы, ни, тем более, человеком, которому ничто не угрожает. Да и разве мог он при его характере покинуть свой пост, уйти? Нет. Потому что уйти — это предать не только людей, но и то, чему служишь, ради чего живешь на свете. И Яков Семенович защищал и защищает при совершенно новых условиях и сегодня. Как он это делает — видно из книги «Судебные речи».

Я начал свои заметки со слов о том, что знаю тридцатилетних стариков и молодых людей далеко за шестьдесят. Это так. Мне известны многие тридцатилетние, которые, несмотря на незначительность жизненного опыта, твердо убеждены, что люди плохи, грош им вся цена, а жизнь — неинтересное занятие.

Однако же в свои далеко не юные года Я. С. Киселев твердо и даже запальчиво утверждает совершенно обратное тому, в чем убеждены молодые старички. Решительно вся его адвокатская деятельность радует меня и восхищает тем, что Киселев всегда верит в хорошее начало в человеке, верит в своего подзащитного и, даже когда сгущаются тучи над обвиняемым, когда (бывало и такое) обвиняемый, измучившийся от долгого следствия и переследствия, готов сознаться в не совершённом им преступлении, Киселев поддерживает своего подзащитного и вселяет в него веру в справедливость.

И еще одно немаловажное обстоятельство для характера Я. С. Киселева — его удивительная, неиссякаемая энергия добра.

Всегда молодой, Яков Семенович Киселев верит в советского человека, он внимателен к его жизненному пути, он не бывает «добру и злу внимающим равнодушно», он адвокат по призванию, и этому делу он служит всегда — и в вёдро и в ненастье — и будет служить столько, сколько будет биться его горячее человеческое сердце.

Юрий Герман

# ДЕЛО КОВАЛЕВА

## ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА

Н. С. Ковалев<sup>1</sup>, его жена Нина Федоровна и двое сыновей — пяти и одиннадцати лет — жили дружной семьей. Сестра Нины Ковалевой — Евгения Бармина, считая, что Ковалев незаслуженно хорошо относится к своей жене, рассказала ему, что Нина не сохранила супружеской верности.

Убедившись в том, что Бармина сказала правду, Ковалев резко изменился. Временами он становился резким и грубым, временами — отчужденным и холодным. Иногда он пытался вести себя так, как будто ничего не произошло, но это ему не удавалось. Семья явно рушилась:

Нина Федоровна остро переживала изменение отношений в семье. Не выдержав душевных мучений, Н. Ф. Ковалева покончила с собой. Н. С. Ковалев был предан суду по обвинению в том, что своим жестоким обращением он довел жену до самоубийства.

Приговором суда Ковалев признан виновным и осужден к лишению свободы.

### *Товарищи судьи!*

В одной средневековой легенде рассказывается о колоколе, обладавшем волшебным свойством: в его звоне каждый путник слышал тот напев, который ему хотелось услышать.

Как часто прения сторон напоминают этот колокол из легенды: одни и те же факты, одни и те же лица, но

---

<sup>1</sup> Фамилии подсудимых, а в ряде случаев потерпевших и свидетелей изменены.



как по-разному, как несхоже они видятся обвинителю и защитнику.

Прав был товарищ прокурор, предсказывая в своей речи, что мы с ним будем по-разному, каждый по-своему, объяснять ту большую и горькую беду, которая пришла в семью Ковалевых. Но по одному из самых центральных вопросов, по вопросу о том, что же побудило Нину Федоровну Ковалеву, молодую женщину, мать двоих детей, 4 августа в 5 часов пополудни распахнуть окно в своей квартире на пятом этаже, встать на карниз, постоять там несколько секунд, обернуться лицом к комнате, что-то крикнуть и затем метнуться вниз, чтобы разбиться о мостовую, вот по вопросу, почему искала смерти Нина Федоровна, у обвинения и защиты нет расхождения. Колокол потерял свое волшебное свойство, и мы с товарищем прокурором отвечаем одинаково: глубокая семейная неурядица, мучительный разлад между мужем и женой — Николаем и Ниной Ковалевыми. Но так ответить — значит сделать только первый и самый нетрудный шаг по длинному пути, конец которого приводит к решению дела.

Да, разлад был, он становился все глубже и грозил семье разрушением. Все это жестоко мучило Нину Федоровну. Но значит ли это, что и в развале семьи, и в трагическом конце, которым он завершился, виноват Николай Ковалев?

У товарища прокурора нет никаких сомнений, ему все предельно ясно: виноват Ковалев, только он, и никто иной!

Эта мысль упорно и настойчиво развивается в обвинительной речи. Горячо произнесенной речи нельзя отказать в последовательности и четкости.

Мир Нины Ковалевой, — таков примерно ход рассуждений обвинителя, — был миром узким, маленьким и ограничивался интересами семьи. Все, что чувствовала, все, чем жила Нина Федоровна, заключалось в семье. В семье она находила радость и покой, семья, и только семья могла пробудить в ней тревогу и вызвать боль. И если жизнь для Нины Ковалевой стала нестерпимой, если жить стало тяжелее, чем умереть, если страх перед жизнью оказался сильнее страха перед смертью, то это значило только одно: жизнь в семье стала невыносимой.

«Кто же мог сделать жизнь в семье невыносимой?» —

спрашивает товарищ прокурор и тут же отвечает: «Ковалев!» Достаточно представить рядом тихую, кроткую, мягкую, безвольную Нину Федоровну и жестокого, сильного, деспотичного Николая Ковалева, и станет очевидным, кто в этой семье был неограниченным владыкой, кто требовал отчета в каждой мысли и каждом коробке спичек. От Ковалева в семье все зависело. Это он создал в семье ад, из-за которого и бросилась головой вниз, на мостовую, Нина Федоровна Ковалева.

Я внимательно слушал обвинительную речь и ловил себя на мысли: как велико могущество слова! Как прихотливо, свободно и неожиданно оно меняет смысл и значение фактов.

До речи товарища прокурора мне казалось бесспорным, что в деле Ковалева в запутаннейший узел сплелись высокие и низкие чувства: любовь и ненависть, месть и прощение, зависть и великодушие. Мне казалось бесспорным: суду предстоит разобраться в многотрудной жизненной драме, тем более сложной, что и самим участникам ее далеко не все ясно.

Но вот прокурор произнес речь. И что же? Оказывается, никаких сложностей в деле нет и в помине. Оказывается, дело Ковалева не то чтобы ясное, оно прозрачное, истина сквозь него так и просвечивает. И секрет превращения дела, в котором на каждом шагу возникают психологические загадки, в дело простейшее, как таблица умножения, раскрыт с покоряющей откровенностью: для этого достаточно было не поскупились на черную краску, рисуя облик Ковалева.

Непригляден, что и говорить, непригляден Ковалев, если смотреть на него глазами обвинителя. Если все то, что сейчас было сказано о Ковалеве, верно, то ведь он только по месту прописки — гражданин Советского Союза, только по дате на паспорте живет он в наше время, а по своему душевному складу Ковалев — современник, соратник, а пожалуй, и соавтор монаха Сильвестра, составившего «Домострой». Выходит, заблудился Ковалев во времени и из шестнадцатого века по ошибке попал в наши дни.

Как видите, краски, которыми пользовался товарищ прокурор, не очень разнообразны, хотя густоты и сочности в них предостаточно. Но ведь давно известно, что одной краской, даже самой густой, очень трудно при-

дать портрету жизненную достоверность. А правильно и точно разобраться в облике Ковалева необходимо, без этого нельзя разрешить дело.

Мне не кажется достоверной та характеристика, которая дана Ковалеву в речи прокурора. Между обвинением и защитой здесь неизбежен спор, спор большой и серьезный. Но прежде чем приступить к нему, я не могу не пожалеть о том, что обвинением была предпринята весьма умелая и искусная, а потому тем более опасная попытка выдать некое предположение за факт и сделать из него далеко идущие выводы о моральном облике Ковалева. Я имею в виду ту часть речи товарища прокурора, в которой он сказал: «Кто-кто, а Ковалев-то должен был особенно остерегаться жестокого обращения с Ниной Федоровной; ведь он уже получил от жизни суровое предостережение и не смел забывать, что его первая жена — Вера Чернова — была доведена им до самоубийства».

Не следовало бы бросать Ковалеву этого обвинения! И не только потому, что оно ему не предъявлено.

Правда, в описательной части обвинительного заключения имеется такая остороженькая правовая недомолвка: не делая никаких выводов, обвинительное заключение упоминает, что Ковалев ранее был женат на Вере Черновой, которая тоже — именно так и сказано: «тоже» — покончила жизнь самоубийством.

В чем смысл этого, на первый взгляд чисто информационного, сообщения? А смысл весьма недвусмысленный и поистине страшный. Можно допустить, что муж не виновен в самоубийстве жены. Но если первой, а за ней и второй жене Ковалева легче умереть, чем жить с ним, то тут уж не скажешь, что он не виновен. Чисто информационное сообщение превращается в губительную улику и непредъявленное обвинение становится самым тяжким обвинением.

Могут спросить: «Против чего возражает защита? Разве не правда, что Вера Чернова 15 лет тому назад, на второй год брака с Ковалевым, покончила с собой? Кто и на каком основании может запретить приводить факты из жизни Ковалева?»

Никто! Но если эти факты как-то характеризуют Ковалева?! Ведь обвинительное заключение — не биографический очерк. В этом весьма важном процессуальном

документе могут приводиться лишь те факты, которые дают основания для суждения о виновности обвиняемого или о его характере. Вот если автор обвинительного заключения располагает не только сведениями о самоубийстве Веры Черновой, но и доказательствами, хоть самыми незначительными, что в ее смерти, хотя бы в самой малой степени, повинен Ковалев, — тогда пусть это будет сказано! Прямо и точно! Пусть против Ковалева будет выдвинуто это обвинение. Ведь только тогда у Ковалева и откроется возможность бороться с ним, опровергать его, доказывать, что оно — неверно. Но не нужно намеков и недомолвок, не нужно игры в психологические отсветы («*тоже* покончила»). Ковалев вправе потребовать ответа на вопрос: «А где они, эти доказательства, что смерть Черновой на моей совести?»

Товарищ прокурор, признав в своей речи тот факт, что следствие не добыло доказательств вины Ковалева в гибели Черновой, подтвердил, что обвинение в доведении до самоубийства Черновой Ковалеву и не предъявляется. Тем не менее это не помешало прокурору значительную часть своей речи посвятить утверждению, что Ковалев несет если не уголовную, то моральную ответственность за смерть Черновой. И это после заявления, что доказательств вины Ковалева не добыто! Нет доказательств — не беда, попробуем отсутствующие доказательства заменить психологическими изысканиями. Попробуем заменить доказательства литературным экскурсом! Попробуем прочесть некоторые из сохранившихся писем Черновой и так их истолковать, чтобы стало видно, что Чернова была жизнерадостным, веселым и хорошим человеком и, следовательно, уж если такой человек совершил самоубийство, то на это его толкнул тот же Ковалев, один только Ковалев, и никто другой.

Здесь были прочитаны отрывки из писем. Они были хорошо прочтены. Эти отрывки, несомненно, оптимистичные, жизнеутверждающие, — об этом никто не спорит. Но дают ли они основание для суждения о характере автора этих отрывков?

Думается, что сам способ определения по отрывкам из писем душевного облика совсем юного существа, у которого еще не сложился окончательно характер, мало надежен. В самом деле, ведь в тех письмах, что находятся в деле, можно без труда отыскать не одно, не два,

а множество высказываний Веры Черновой, которые звучат безрадостно, уныло, мрачно. На заре своей юности, как говорили в старину, в восемнадцатую весну своей жизни Вера пишет: «Человек — раб природы. Ему никогда не сбросить цепей». В другом письме этот мрачный философ в переднике школьницы изрекает: «Жизнь отвратительна. Я хочу в себе торичеллиевой пустоты».

Откройте третье, пятое, десятое — любое письмо, и вам станет совершенно очевидным, что если одно письмо безысходно мрачно, то не нужно огорчаться: на завтра его сменит другое, в котором уже поют жаворонки. Но и этому письму не следует радоваться, — на другой день почтальон принесет очередное письмо, полное вселенской скорби. И все они написаны до замужества Веры Черновой, до ее переезда к Ковалеву в Ленинград.

Нет, подбирая цитаты из писем, вы не подберете ключа, при помощи которого раскрылся бы характер Черновой.

Письма свидетельствуют лишь об одном: у Черновой, как, впрочем, и у большинства впечатлительных девушек, легко менялось настроение.

Судить о характере девушки, пусть даже по искусно подобранным отрывкам из писем, так же безнадежно, как безнадежно пытаться ориентироваться в местности по форме облака, проносящегося по небу и все время изменяющегося, так, что оно (помните, в «Гамлете») — «то верблюд, то арфа». Недалеко уйдет тот путник, который зна́ком опознания местности изберет облако.

В деле имеется доказательство, зримое, весомое, реальное доказательство невиновности Ковалева в гибели Веры Черновой. Речь идет о ее предсмертном письме, — дочь прощается с матерью, молит простить ее за то, что причиняет ей такое горе, подводит итоги своей короткой жизни. Кто осмелится взять под малейшее сомнение подлинность и точность фактов, о которых говорится в этом последнем в жизни Веры письме!

Вот что она пишет: «Я уйду в другой мир, потому что мне так будет легче. С моим характером мне трудно здесь жить». И, как бы объясняя матери, что у нее нет никаких причин для отчаяния, кроме свойств своего характера, она пишет о своих отношениях с Ковале-

вым: «Николай меня любит, мама, и я его люблю. И нет у меня слов, чтобы передать, как много в моем сердце благодарности за все, что он сделал для меня».

Уходя из жизни, Вера Чернова просит: «Мама, передай матери Николая, что я полюбила ее, вижу в ней вторую маму». И тут же объясняет, почему она полюбила мать Ковалева — за ее любовь к сыну.

Нужны ли лучшие доказательства, что любовь Веры Черновой к Ковалеву была и светлой и радостной?

Тяжко страдая от поразившего ее психику недуга, хрупкая физически и духовно, испытывая все возрастающий страх перед прогрессирующей болезнью, Вера Чернова не нашла в себе сил и стойкости бороться за свое исцеление, за жизнь. Она сознавала свою слабость и в своем предсмертном письме сказала правду: «В смерти моей никто, никто не виноват!»

Казалось бы, совершенно очевидно: ничто не дает ни права, ни основания возводить на Ковалева обвинение в том, что он довел Чернову до самоубийства.

Товарищ прокурор говорит: «Я не требую осуждения Ковалева за доведение до самоубийства его первой жены. Если я и говорю о ее печальном конце, то только для характеристики Ковалева».

«Только для характеристики!» Слово для характеристики вместо доказательств можно довольствоваться намеками, вместо фактов — предположениями, вместо доводов — недомолвками.

Обвинение Ковалева в том, что на нем лежит вина за смерть Черновой, прямо ли оно выражено или деликатно именуется «характеристикой», все равно должно быть отброшено. И не только формально. Оно не может, не должно остаться в нашей памяти и в сознании, не должно бросать мрачную тень на прошлое Ковалева. И тогда легче будет разобраться, что в деле точно установлено, а что наносное.

Чтобы решить, виноват ли Ковалев в смерти Нины Федоровны, нужно прежде всего возможно яснее представить себе во всем жизненном своеобразии и неповторимости особенности характеров всех трех, да, именно трех, а не двух участников драмы. Евгения Федоровна Бармина, сестра Нины Федоровны, приложила много усилий к тому, чтобы в маленькой квартире на Васильевском острове вспыхнула и разразилась самым

бурным, вулканическим образом тяжелая драма. Поэтому Бармина должна считаться ее полноправной участницей.

Из показаний многочисленных свидетелей, по высказываниям Нины Федоровны Ковалевой, переданным нам людьми, которым она была дорога, с которыми она была дружна, наконец, по целому тому писем, общенных к делу, мы знаем, что Нина Федоровна обладала характером ровным, приятным, слегка флегматичным и, пожалуй, ленивым. Больше всего она дорожила покоем, безмятежностью, больше всего она опасалась тревог, волнений, дерзаний, взрывов чувств, взлетов мысли. Однажды сестра Нины Федоровны спросила ее, что она ценит в своем муже, и услышала в ответ: «То, что он мне позволяет оставаться ребенком». Не другом, не товарищем, не спутником в жизни, а ребенком, дитятей, которому нельзя позволить быть самостоятельным и за которого нужно все решать. «Счастливы дети! — думала Нина Федоровна. — Они имеют только права и никаких обязанностей. И как много и как легко им все прощается».

Нине Федоровне больше всего хотелось остаться ребенком. И она оставалась им. Дольше, гораздо дольше, чем это следовало. Но ведь этого не только она хотела, это поощрял и Николай Сергеевич Ковалев. Его трогала, умиляла и радовала ее «детскость». Сильный, энергичный, он испытывал потребность опекать, заботиться, охранять и... господствовать! Если бы только Нина и Николай Ковалевы знали, к какой беде приведет это общее у них желание, чтобы жена оставалась дитятей! Особенно при характере Николая Ковалева.

Если бы нужно было одним словом охарактеризовать Николая Сергеевича Ковалева, найти в нем самую яркую, всеопределяющую черту, сделать это было бы нетрудно, так как она бросается в глаза. Не случайно три свидетеля — Сережкин, Алферов и Горшков, — говоря о Ковалеве, все сказали о нем одно и то же: «Неистовый!»

Да, он неистовый в работе, неистовый в чувствах, неистовый в отношениях с людьми. Он ничего не умеет делать наполовину. Трудится ли он или отдыхает, радуется или огорчается, дружит или перечеркивает дружбу — все это в полную силу, свыше сил, с плеча, вз-

хлеб! Только так, и никак по-иному! Таким он был и на фронте. Ведь не часто в официальной характеристике пишут так, как написано о Ковалеве: «Безудержно храбрый».

Здесь были допрошены свидетели Пивоваров, Крупиков и Балкин, с которым Ковалев работает вот уже свыше 6 лет. Смысл их показаний одинаков, но выразительнее всех о Ковалеве сказал Крупиков: «Он — мотор на больших оборотах!» Неистов он и в быту, таким он предстает перед нами и в том деле, что мы здесь исследуем. И его чувство к жене тоже не укладывается в привычные рамки. Вспомним показания Евгении Барминой, а ведь она лучше всех знала отношения в семье: «Николай с каждым днем все больше и больше влюблялся в Нину; было похоже на то, что он за 13 лет никак не мог привыкнуть к мысли, что она — его жена».

Очевидно, товарищи судьи, вы заметили, что и тогда, когда я говорил об отношении Нины Федоровны к своему мужу, и тогда, когда пытался определить отношение Ковалева к жене, я ссылался на Бармину. Почему? Только ли потому, что она хорошо знает все, что происходило в семье ее сестры? Нет! Я ссылался на Бармину по той простой причине, что ее жадный интерес к тому, как относился Ковалев к своей жене, носил какой-то особый, болезненно острый характер. В отношениях между Ковалевыми не было такой мелочи, которую бы она не заметила, не запомнила, не сопоставила и которая... не огорчила бы или не обрадовала Евгению Федоровну.

Но, чтобы не возникало никакого недоразумения, нужно тут же прямо сказать, что какого-либо выходящего за пределы обычного, скажем так — сугубо личного, отношения у Барминой к Ковалеву не было. Для Евгении Федоровны Барминой и в ее мыслях и в ее чувствах Николай Сергеевич Ковалев оставался только мужем ее сестры, и не кем иным! Но вот отношения между сестрами, вернее отношение старшей сестры к младшей, отношение Евгении к Нине было таким, что в нем нужно, очень даже нужно разобраться. Над ним нельзя не задуматься, ибо многое, очень многое в этом деле оно объяснит.

Евгения Федоровна была не только старше. Она была, — во всяком случае, она так чувствовала и об



этом, не стесняясь, говорила, — она была ярче, красивее, умнее, привлекательнее и... несравнимо несчастнее.

Едва окончив школу, она вышла замуж и через несколько месяцев убедилась, как жестоко ошиблась в своем выборе: муж оказался пустельгой, ничтожеством и вдобавок к этому — алкоголиком. Два года мучилась молодая женщина, пока, наконец, не решилась развестись с ним. Прошло около года, и она вновь вышла замуж. Брак был счастливым. Вскоре родился сын. Жена и муж в нем души не чаяли. Но вот случилась беда: в автомобильной катастрофе погибли муж и сын. Нужны были недюжинные силы, чтобы выжить, чтобы справиться с горем. И Евгения Федоровна выстояла. Но, едва оправившись, попала в новую беду. Евгения Федоровна так нуждалась в утешении, в человеке, который отвлек бы ее от горестных дум, что, встретив того, кто вскоре стал ее третьим по счету мужем, она сама себя убедила, что в нем — ее спасение, возможность вернуть себе ощущение полноценности жизни. Не рассуждая, не проверяя ни себя, ни этого человека, Евгения Федоровна вышла в третий раз замуж и была сурово наказана за вполне понятную в данном случае торопливость: новый избранник начисто обобрал ее и скрылся. Так счастье снова прошло мимо Евгении Федоровны. А рядом жила младшая сестра, Нина, не яркая, не броская, ничем не выделяющаяся, по мнению Евгении Федоровны, даже скучновато-тихая, а ко всему — еще наделенная физическим недостатком: из-за повреждения пальцев она чуть припадала на левую ногу. И вот эту Нину любил, окружал заботой, этой Нине был верен сильный и красивый человек.

И подсознательно, не смея в этом признаться даже себе самой, Бармина считала счастье Нины Федоровны незаслуженным. Сначала — незаслуженным, а потом и несправедливым. Это очень большая разница! Незаслуженному счастью можно лишь удивляться, а если оно несправедливо — тут уж недалеко до того, чтобы начать эту несправедливость устранять. А ведь в той ссоре между сестрами, что произошла за год (запомним это — за год) до внезапных, как снежный обвал, июньских событий, Евгения Бармина не только позволила себе самой признаться в своей тайной зависти, но и сестре в лицо бросила: «За что тебе такое счастье? Это ведь

несправедливо. Помяни мое слово, Николай тебя бросит. И правильно сделает».

То, что это не было случайной вспышкой гнева, то, что здесь на мгновение раскрылись накопившиеся за долгое время чувства, в этом нас убеждает рассказ самой Барминой о реакции Нины Федоровны на ее выпад: «Нина не рассердилась и не обиделась, она испугалась».

Бармина не ошиблась, она точно определила состояние своей сестры: испугалась! Чего же она испугалась?

Я чту память Нины Федоровны и не хотел бы касаться саратовского периода ее жизни, но ведь этого не сделать нельзя. Пройти мимо этого периода жизни — значило бы пожертвовать правдой.

Нина Федоровна была эвакуирована в Саратов и жила там в течение того времени, пока Ковалев был на фронте, а затем — за пределами нашей страны, находясь в рядах Советской Армии. В Саратове Нина Федоровна познакомилась со Скворцовым и не осталась верна мужу. Она много рассказывала о Скворцове своей ближайшей подруге, Курбатовой, и та многое запомнила.

Что же в Скворцове привлекло Нину Федоровну? Оказывается, «он был очень остроумный, знал массу анекдотов и с ним было всегда весело». Подумайте только — идет война, решается судьба нашего народа. Каждый час сотни женщин становятся вдовами, дети — сиротами. Ковалев не выходит из боев. А в это время Нина Федоровна, его жена, мать его ребенка, торопливо пробиравась на свидание к тому, с кем ей «всегда весело». И как ее не остановила мысль, что, быть может, в ту самую минуту, когда она, озираясь, идет со Скворцовым, ее муж, отец ее ребенка, падает раненный, а возможно умирающий.

Я обещал чтить память Нины Федоровны и поэтому сам себя прерываю и ничего больше не скажу о ее отношениях со Скворцовым. Но об этих отношениях знала и Бармина. Знала во всех деталях. И, по мере того как в ней зрела и крепла мысль, что любовь достается Нине Федоровне не по праву, больше того — вопреки справедливости, Бармина все чаще ловила себя на мысли о том, что всякое проявление внимания со стороны Ковалева к жене раздражало, огорчало, а потом выводило ее,

Бармину, из себя. Она, может быть, и не знала, что ее переживания называются грубо и просто: завистью! Видя семейное счастье Нины, Бармина, лишенная его, уже не могла справиться с желанием капнуть разъедающей кислотой ревности, вызвать подозрения, приоткрыть перед Ковалевым хотя бы немного из того, что было у Нины в Саратове.

Как она это делала, мы теперь знаем. Об этом свидетельствуют показания той же Курбатовой, двух соседок Барминой — Елагиной и Драбкиной, домработницы Ковалевых — Герасимовой и, наконец, признания самой Евгении Федоровны.

Бармина осторожно и лукаво сеяла опасные семена подозрения. Она ничего не говорила прямо — все намеками, все недосказкой. То словно проговорится: «При тебе она тихоня, а вот в Саратове...» — и оборвет, больше ничего не скажет, ждет, не спросит ли Ковалев? Николай Сергеевич молчит, молчит и Бармина. Но она-то знает: след в памяти, а быть может и в сердце, остался. То, как бы радея о сестре, упрекнет ее в присутствии мужа: «Не следишь ты за собой, небрежно одеваешься, а ведь, помнишь, в Саратове в еде себе и Мишеньке отказывала, лишь бы прифрантиться...» И тут же умолкнет, никого не назовет, ни на что не укажет. А то в присутствии Ковалева... впрочем, не нужно больше примеров, они свежи в вашей памяти. Бармина не переставала сеять подозрения, которых нельзя проверить и нельзя оспорить, но которые оставляют если не рубцы, то садины на сердце.

Ковалев же — и это больше всего повергало в недоумение и вместе с тем злило Бармину — вел себя совсем не так, как этого ожидала «заботливая» и «нежная» старшая сестра. Он ничего не выпытывал, не добивался, чтобы намеки были раскрыты, не устраивал сцен. Он не менял своего отношения к жене и гнал от себя подозрения, а заодно и Бармину. Он потребовал: пусть не ходит к ним в дом Бармина, пусть не отравляет их жизнь ядом подозрительности, пусть — и это больше всего озлобило Бармину — не смеет в его присутствии оскорблять намеками его жену!

Можно ли о Ковалеве говорить так, как говорил товарищ прокурор? Можно ли называть его человеком, у которого самым сильным чувством была ревность?

Как тут не вспомнить проникновенную мысль Пушкина о том, что Отелло не ревнив, а доверчив. Доверие твердо и крепко, его нелегко подорвать, но горе, когда это доверие обманут.

Всего, чего угодно, мог ожидать Ковалев, когда потребовал, чтобы «Евгения порога моего дома не переступала», но только не того, что спокойная, обычно уступчивая Нина Федоровна станет так бурно протестовать: нет, ни за что, ни за что она не позволит, чтобы ее сестру выгоняли из дома!

Ковалев не понимал, почему так сопротивлялась Нина, почему она не хотела, чтобы ее оградили от оскорбительных намеков, почему так безропотно соглашалась сносить их. Не понимал Ковалев, так как не знал того, что было совершенно ясно его жене: изобличение в измене и так еле-еле удерживалось на кончике языка Барминой, оно готово было вот-вот сорваться. А уж если сестра позволит прогнать сестру, тогда... пусть уж Нина пеняет на себя!

Но Ковалев был настойчив и неумолим. Нина Федоровна обещала не пускать к себе сестру. Но втихомолку, в часы, когда Ковалева не было дома, сестры встречались.

19 июня Ковалев неожиданно освободился раньше обычного и направился домой. На лестнице он нагнал Бармину, подымавшуюся к ним в квартиру. Бармина до сих пор хранит в памяти каждое слово, которое он сказал ей. А ей бы следовало помнить, навсегда запомнить то, чем она ответила. Ковалев крикнул ей: «Как ты смеешь ходить к нам? Я не хочу, чтобы грязь коснулась моей жены!» И тогда Бармина, — пусть она теперь объясняет свое поведение, как хочет, от этого ничего не изменится, — тут же, на лестнице, ответила: «Я чище твоей жены» — и все выложила о Скворцове. «Облегчив душу», поведав Ковалеву все, все, что знала, ничего не упустив, она ушла, оставив его ошеломленным.

Вы знаете дальнейшие события этого дня. О них здесь с вполне понятным гневом говорил товарищ прокурор. Но ведь и Ковалев не оправдывает себя. Это он сам о своем поступке сказал: «отвратительный и мерзкий». Крепче не скажешь!

И в обвинительном заключении и в речи товарища прокурора дано точное описание событий, последовав-

щих 19 июня за барминской «исповедью на лестнице». Да, так оно и было. Ковалев «ворвался в квартиру», «уволок свою жену в спальню», прикрыл дверь и, страшный, с перекошенным лицом, с обезумевшими глазами, не сказал, а прохрипел: «Мне Евгения все рассказала! Сознайся или я убью тебя!» Смертельно перепуганная, потрясенная внезапностью разоблачения, Нина Федоровна призналась. Ковалев с силой отшвырнул от себя Нину Федоровну. Она упала и рассекла лоб о спинку кровати. Когда Нина Федоровна поднялась, он ударил ее раз и другой, и тогда она, не помня себя от страха (она ведь никогда не видела Ковалева таким), выбежала из комнаты, из квартиры и, заливаясь слезами, с окровавленным лицом (из рассеченного лба текла кровь), с криком «Спасите, убивает!» стала звать и стучаться в соседнюю квартиру. Так события 19 июня стали известны соседям, затем всему дому, а затем... но об этом речь будет еще впереди.

Поведение Ковалева 19 июня бесспорно заслуживает осуждения. Но верно ли то, что здесь было сказано: «Ковалев выказал себя отвратительным ревнивцем. В нем сильнее всего грубые, собственнические инстинкты. У себя на работе на словах он ратует за самые передовые взгляды, а, приходя домой, насаждает „домострой“».

Во имя справедливости следует внимательнее, а главное объективнее, разобраться во всем том, что пережил и передумал Ковалев в этот страшный не только для Нины Федоровны, но в неменьшей мере и для него самого день.

Ошеломленный, чувствуя, как рушится все то, во что он горячо, радостно и гордо (это сейчас очень важно понять — именно гордо) верил, слушал он сестру своей жены. Слушал и понимал, что Барминой теперь не верить уже нельзя. И вот внезапно (в этом все дело — внезапно!) вся эта чудовищная правда обнажилась перед ним до конца, и тут его сознание обожгла мысль: ведь тогда, когда он защищал Родину, шел трудными дорогами войны, его жена, самый близкий и дорогой человек, обманывала и предавала его, изменяла ему, без любви, даже без увлечения, — Бармина постаралась, чтобы у него не оставалось на этот счет никаких сомнений, — изменяла, чтобы развлечься. А он верил, — ка-

ким стыдом сейчас жгла его эта вера! — непоколебимо верил, что кто-кто, а уж его Нина свято выполняет свой долг: бережет и охраняет душевный мир и честь мужа-воина, которому ежечасно грозила опасность. Он слушал сестру своей жены и ясно, до галлюцинации ясно представлял себе, как жена, идя на свидание или возвращаясь с него, опускает в почтовый ящик письмо ему, Ковалеву. В письмах, написанных между двумя встречами с любовником, она клялась в любви, а он, одураченный и осмеянный, берег эти письма как самое дорогое и заветное. Все это сразу нахлынуло на Ковалева, когда он слушал Бармину. Нет, было бы неверным назвать все те чувства, что терзали Ковалева, ревностью. Возможно, тут была и ревность, но гораздо сильнее были горечь, боль и стыд. Не за себя! За жену! За то, что она, его Нина, оказалась ниже, недостойнее того облика, который он видел в ней, и того чувства, которое он так долго к ней испытывал.

Конечно, все эти чувства и мысли не развивались в нем в строгой последовательности и четкости. Они, говоря его словами, «молнией обожгли его», и все, что в нем бушевало, терзало его мукой и стыдом, искало выхода, все это властно требовало разрядки.

Никто не оправдывает его поступка, и меньше всего сам Ковалев. Но сказать, что все то, что он переживал, является «отвратительной ревностью, проявлением собственнических инстинктов», — значит сказать неверно и неоправданно оскорбить Ковалева. Его чувства заслуживают большего уважения.

Да, события 19 июня разрушили семейный мир, необратимо изменили отношения Нины и Николая Ковалевых и привели в конце концов к самоубийству Нины Федоровны. Трагической развязке способствовали события 19 июня, а не дикая выходка Ковалева. О, если бы все дело было в яростной вспышке Ковалева! Как легко и быстро была бы она забыта. Я вправе это утверждать, такое право дают мне показания свидетельницы Богатыревой, к которой пришла Нина Федоровна 22 июня. В течение трех дней, потрясенный тем, что он сделал, Ковалев не возвращался домой. Богатырева работала вместе с Ковалевым, поэтому к ней и пришла Нина Федоровна. Она расспрашивала, как выглядел Ковалев, не похудел ли он, не очень ли мрачен, и в конце

разговора расплакалась и тут же объяснила, почему она плачет: ей жалко мужа, она понимает, как ему нестерпимо тяжело. Многие может проститься Нине Федоровне за эти слезы!

На четвертый день Ковалев вернулся домой. «Вернулся не для того, чтобы вымалывать прощение, — говорил товарищ прокурор, — а для того, чтобы вершить суд». Нет, неверно. Он вернулся сумрачный, отчужденный, замкнутый, но внешне спокойный, с твердой решимостью не возвращаться к прошлому. О своей решимости он говорил Богатыревой, так он сказал и Назаренко, и у нас нет оснований этому не верить.

Но за эти четыре дня многое пережила и передумала сама Нина Федоровна. Вероятно, только страхом, огромным страхом перед тем, что она теряет любовь мужа, что семья идет к развалу, только этим можно объяснить ту наивную до нелепости, беспомощную и вместе с тем очень тяжкую по последствиям «ложь во спасение», к которой она прибегла.

Нина Федоровна настаивает на том, чтобы Ковалев ее выслушал. Нехотя, хмуро он соглашается. Нина Федоровна клянется ему: она никогда ему не изменяла, ничего между ней и Скворцовым не было, а если она и подтвердила выдумку своей сестры, то только потому, что боялась еще больше рассердить мужа своим отрицанием. Ковалев слушает, не перебивает, но Нина Федоровна чувствует: не верит!

Тогда происходит та сцена, которой потом так стыдилась Нина Федоровна: она приводит младшего, пятилетнего сына и, как в очень плохой, безвкусной мелодраме, кладет руку на голову сына и восклицает: «Пусть он ослепнет, если я тебе изменила!» И тут впервые за четыре дня Ковалев заговорил с женой: пусть Нина сама подумает, что она делает; не нужно больше лжи! Что было, то было. Изменила, обманула, но с тех пор прошло много времени, может быть, удастся забыть, не думать об этом, может быть, все еще будет по-хорошему, но для этого нужно, чтобы он мог верить ей, знать, что и ей теперь нестерпима ложь. Но если она и сейчас говорит неправду, то ведь никакой надежды не остается; он умолял ее не лгать, только не лгать!

Все напрасно! Нина Федоровна все еще во власти своей злополучной идеи, что Ковалева нужно заставить

поверить, будто она не изменила, и она продолжает цепляться за «спасительную» ложь. Через два дня она сама ужаснется этой лжи, горько раскается, расскажет об этом Курбатовой, а та сохранит ее рассказ для нас.

Раскаяние Нины Федоровны оказалось запоздалым. Ведь к тому времени Ковалев был уже на полпути к Саратову. В Саратове Ковалев пришел к Скворцову. Перед мужем стоял «избранник его жены». Какое странное сочетание слов, казалось бы, даже невозможное, а ведь другого не придумаешь, так оно и было: перед мужем стоял избранник его жены. Стоял и трясся мелкой дрожью труса и ничтожества. Саратовский «рыцарь» сразу же принялся каяться с усердием, с готовностью, со слезою каяться, не преминув при этом оговорить, что «инициатором романа» был не он.

По особому поручению Скворцов был допрошен, и все факты, сейчас изложенные, находят подтверждение в его показаниях.

Ковалев возвращается в Ленинград. Теперь-то он знает правду, всю, до конца. И когда осталось два-три часа пути до Ленинграда, Ковалева озаряет мысль. Пусть мне простится невольная пышность этого слова, но оно единственно точное и необходимое. Ковалева озаряет мысль: «Мне тяжело, очень тяжело, но насколько тяжелее ей, моей бедной Нине! Ей страшно за себя, за детей, за меня, ее мучают раскаяние и сознание, что она ничего не может сделать, ей остается только ждать, ждать того, что я сделаю».

Николай Сергеевич Ковалев — человек горячий и стремительный, он легко поддается порыву. И тут он взмывает на вершины, на самые высокие вершины человеческих чувств (возразите мне, товарищ прокурор, если это неверно): он не только прощает свою Нину, но и озабочен тем, как сделать так, чтобы она легко, не терзаясь собственной виной, перенесла это прощение, чтобы он сумел сразу же, ни на одну секунду не продлевая ее мук, показать ей, что она для него — прежняя, что все будет хорошо. И он покупает в Любани большой букет цветов. Он привезет его, молча передаст Нине, и она сразу все поймет.

Много мелочей было подмечено в обвинительной речи, тонко о них было рассказано, а вот букета почему-то не заметили.



Нина Федоровна встретила Ковалева на вокзале. Она привела с собой своих сыновей, возможно, для того, чтобы напомнить Ковалеву: я ведь не только твоя жена, но и мать твоих детей. Конечно, права была свидетельница Курбатова, когда говорила, что Нина Федоровна встречала мужа не без страха и муки, но, увидав в его руках букет, она с особой женской чуткостью мгновенно все поняла и зарыдала, счастливая и несчастная, счастливая его прощением, несчастная своей виной.

Казалось бы, мир вернулся в семью Ковалевых. Но, к несчастью, это только казалось. И тут, пусть меня простит Николай Сергеевич Ковалев, мне нельзя не сказать несколько горьких слов в его адрес.

Есть люди, которые способны на подвиг, на чудесный поступок, на подлинную самоотверженность, но сделать они это могут только в результате порыва, мгновенно, не задумываясь. В предельном напряжении своих сил они могут совершить нечто такое, перед чем потом сами останавливаются в изумлении. Но на поступки будничные, требующие несравнимо меньших усилий, но систематических, повторяющихся изо дня в день, — на это они неспособны. К таким людям относится и Ковалев. Ему, пожалуй, легче грудью закрыть амбразуру, чем ежедневно, в течение нескольких лет тщательно чистить винтовку.

И еще одно нужно о нем сказать. Конечно, он не позер. Напрасно ему был брошен этот упрек. Нет, он не позер в обычном смысле этого слова. У Оскара Уайльда среди его парадоксов есть и такой: самое естественное для человека — это принимать позу. Если слегка перефразировать этот парадокс, то он окажется верным в применении к Ковалеву: самое естественное для Ковалева, так сказать, подстегивать свои чувства.

Ковалев не обманывает, не позирует. Такие мысли о нем были бы явно ошибочными, но у него есть глубоко укоренившаяся потребность придавать каждому своему чувству или переживанию несколько преувеличенную значительность, приподнятость, яркость, облекать их в явно окрашенную романтизмом форму. Ковалеву чужда сдержанная простота и чувств и их выражения.

А в сложных отношениях, которые возникли у него с Ниной Федоровной, больше всего нужна была мудрая

сдержанность и простота. На них-то и не был способен Ковалев.

В порыве, во взлете чувств Ковалев сумел простить Нину Федоровну. Но вот прошло несколько дней, накал высоких чувств ослабел, в памяти вновь и вновь вставали десятки подробностей, рассказанных Барминой и Скворцовым, и тогда возникали боль и гнев. Скрыть их Ковалев не умел. Оказывается, великим и трудным умением прощать Ковалев не обладал.

Правда, не было больше диких сцен, не было даже словесных попреков. Но от этого легче не становилось. Ковалев приходил домой насупленный, суровый, чужой. Истерзанный сам, он, не замечая этого, терзал Нину Федоровну, всем своим видом говоря: «Не простил! Не простил! И ничего не забыл». Проходило несколько дней. Наступал короткий период просветления: Ковалев вновь оказывался во власти доброго порыва. Но просветление быстро кончалось, и после него только мрачнее делались дни отчуждения.

И для Нины Федоровны становилось все очевидней, что Ковалев никогда ей простить не сможет, ничего не забудет. Никогда она больше не будет его ребенком. Непривычная к трудностям, к жизненной борьбе, столкнувшись с настоящей бедой, Нина Федоровна только то и умела, что страдать.

А тут еще другое примешалось и намного увеличило страдания Нины Федоровны.

Ковалевы жили в ведомственном доме, где все друг друга знают. И когда 19 июня Нина Федоровна вбежала к соседям, она, не помня себя, рассказала и то, что призналась мужу в неверности. О, как быстро растеклись эти признания по всему дому, как подхватила их обывательщина, разукрасила их вымышленными подробностями! Сплетня стала разрастаться, ее охотно смаковали! Живым олицетворением этой обывательщины, вынюхивающей, высматривающей, нет ли где-нибудь подходящего материалчика для сплетни, прошла перед вами свидетельница Гранаткина. В чудовищном непонимании того, что она делает, Гранаткина, несколько не смущаясь, рассказывала:

— Как только я узнала, что Николай Сергеевич избил свою Ниночку, я сейчас же забежала к ним.

— Для чего? — спросили ее.

— Как для чего? — удивилась Гранаткина. — Чтобы узнать подробности.

Гранаткины (я говорю «гранаткины» с малой буквы) оказались верны себе: и анонимные письма писали; и по месту работы аккуратно во всех подробностях сообщали, чтобы делу о поведении Ковалева в быту был дан ход; и соболезнование уважаемому и дорогому Николаю Сергеевичу при встречах выражали; и кривой, но нескрываемой усмешкой Нину Федоровну встречали. Словом, обывательщина старалась!

А Нина Федоровна стать выше этого, пренебречь ею была не в состоянии.

Я думаю, что Нина Федоровна в глубине души и до 19 июня винила себя за саратовский период своей жизни. Но это чувство вины не было ни острым, ни тяжким. И редко оно всплывало в памяти. Но вот саратовский эпизод получил печально широкую и громкую огласку. Все то, что она себе почти простила, стало вызывать к ней неуважительное, а подчас и презрительное отношение. Все чаще стала она себя чувствовать оскверненной. Но больше всего ее мучила мысль, о которой так взволнованно говорила в судебном заседании свидетельница Курбатова.

Старшему сыну Ковалевых 11 лет. Он, естественно, встречается с детьми, которые живут в том же доме. Пройдет немного времени, и то, что знают родители, узнают и дети. И ее Мише, ее сыну, расскажут о матери. И бедная Нина Федоровна не находила себе места при мысли о том, что подумает о ней сын. Вырастет он, подрастет и младший — и они не смогут уважать свою мать.

«Все, все потеряно, ничего не осталось!» — так чувствовала, так убеждала себя Нина Федоровна. Как все слабые натуры, она преувеличивала беду и не видела никакого выхода.

Горе, в котором жила Нина Федоровна, быстро вытравливало в ней любовь к жизни. Не одному, не двум, а буквально каждому, с кем она встречалась в конце июля, Нина Федоровна описывала свое состояние. «Ничего в жизни мне уже не дорого, ничего в жизни у меня не осталось».

Мысль о самоубийстве — прибежище слабых людей в трудной жизненной ситуации. И к этой мысли все чаще

возвращалась Нина Федоровна. Мгновенная решимость — и все будет кончено. Не будет больше бессонных ночей, дней, полных муки, не будет неотступных гнетущих мыслей. Мгновение — и навсегда покой! — все больше убеждала себя Нина Федоровна.

Но верно ли, что только после 19 июня разладилась жизнь Нины Федоровны и в ее душу проникли отчаяние и безнадежность?

Большая группа свидетелей и на следствии и на суде показала: Нина Федоровна им жаловалась на то, что Ковалев был жесток и груб с ней и до 19 июня. Не слишком ли в голубых, идиллических тонах рисовалась здесь защитой семейная жизнь Ковалевой? Может быть, следует согласиться с обвинением, что события 19 июня не были громом среди ясного дня, а были продолжением и завершением долгих издевательств и унижений, которым подвергал Ковалев свою жену?

Не ответить на этот вопрос защита не может. Но напрасно пророчествовал товарищ прокурор, что мною будет взята под сомнение правдивость свидетелей.

Свидетели Буртова, Назаренко, Курбатова, Богатырева, как и все остальные, которым жаловалась покойная Ковалева, заслуживают полного доверия. То, что они слышали от Нины Федоровны, они и сообщили суду. Тут нет сомнений.

А вот отвечают ли жалобы Нины Федоровны действительности — это необходимо проверить.

Все свидетели, о которых идет речь, все до единого показали: жалобы, правда, были и на близкое и на далекое прошлое, но... — и в этом «но» не малый смысл! — но... начала жаловаться Нина Федоровна только *после* 19 июня, до этого жалоб не было.

Все свидетели, о которых идет речь, все до единого показали: они не видели, при них не было ни одного случая не только жестокого, но даже мало-мальски резкого обращения Ковалева со своей женой.

Все эти свидетели — завсегдатаи в доме Ковалевых. Курбатова и Назаренко чуть ли не ежедневно бывали у Ковалевых; Буртова жила рядом, на той же лестничной площадке, она и Нина Федоровна заходили друг к другу по мелким хозяйственным нуждам по несколько раз в день.

И все эти свидетели показали в один голос: удивили,

немало удивили нас жалобы Нины Ковалевой, очень уж расходилось все то, что мы лично наблюдали, с тем, что она нам рассказывала.

А разве можно пренебречь показаниями свидетельницы Герасимовой? В течение трех лет она работала домработницей у Ковалевых и ушла от них только за два месяца до июньских событий. Она искренне огорчена смертью Нины Федоровны и, конечно же, ничего не сделала, чтобы выгородить обидчика. Ценность показаний Герасимовой не может вызвать спора: кто еще лучше знает быт семьи, чем домашняя работница?

Герасимова показала: «Ума не приложу, почему Нина Федоровна решила жить, жили-то ведь они с Николаем Сергеевичем душа в душу».

И, наконец, показания Барминой: кому-кому, а ей-то уж очень хотелось бы, чтобы было признано, что семейный разлад начался задолго до 19 июня, что и до ее рассказа о Скворцове Ковалев угнетал и оскорблял свою жену. И если уж Бармина и на следствии и здесь утверждала, что отношения Ковалева к его жене были «на редкость хороши», то не верить ей нельзя.

Да и как могло быть иначе? Ведь если бы Ковалев «много лет тиранил Нину Федоровну», как это было здесь сказано в обвинительной речи, то ведь Барминой нечему было бы завидовать, Бармина не могла бы воскликнуть, обращаясь к своей сестре: «За что тебе такое счастье?»

Разве не очевидно: не будь жизнь в семье Ковалевых до 19 июня ясной и радостной, не было бы и самих событий 19 июня, не было бы и «исповеди на лестнице».

Можно по правде и по совести сказать: хоть и жаловалась Нина Федоровна, но оснований к этому у нее не было. Так почему же она это делала? Тут можно только догадываться. По всей вероятности, тяжесть, которую она испытывала после 19 июня, невольно заставляла ее мрачнее и безрадостнее смотреть и на прошлое.

Но было и другое: у Нины Федоровны не могла не возникнуть потребность видеть прошлое хуже, чем оно было в действительности. Нина Федоровна — хороший и совестливый человек, — конечно же, чувствовала себя виноватой перед мужем. Чем светлее и лучше было прошлое, тем больше возрастала ее вина в ее собственных глазах. Ей нужно было, больше того, было совершенно

необходимо внушить себе (для того, чтобы не так уж терзать себя сознанием своей вины), что их прошлое с Ковалевым было мрачным и худым. Внушить себе. И другим. В жалобах Ковалевой этот, как бы это сказать поточнее, мотив самооправдания явно слышится.

Может быть, истолкование побуждений Нины Федоровны и не совсем полное, но это не меняет самой сути дела: жизнь не только перестала ее привлекать, но превратилась в непереносимую тяжесть только после 19 июня.

4 августа Ковалев вернулся домой и рассказал Нине Федоровне, что общественность по месту его работы осудила его дикий поступок 19 июня, осудила сурово, и он должен будет уйти на другую работу.

Еще одна беда обрушилась на Ковалевых, вернее на Нину, ибо в этом она себя чувствовала виноватой! Это и было последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Нина Федоровна бросилась к открытому окну и прыгнула вниз, чтобы больше уж никогда не страдать, не жалеть, не отчаиваться.

Между тем, что делал Ковалев, и самоубийством его жены существует несомненная причинная связь. Его неуменье простить, его отчужденность, то, что он часто оставался глухим к страданиям Нины Федоровны, — было одной из причин — правда, в ряду других, — вызвавших уход Нины Федоровны из жизни.

Но этого недостаточно — и таково веление закона — для осуждения Ковалева. Помимо причинной связи должно быть установлено еще и виновное отношение. Для того чтобы Ковалев был осужден по предъявленному ему обвинению, необходимо признать доказанным, что он хотел смерти матери своих детей и знал, отдавал себе ясный отчет в том, что его поведение отнимает волю к жизни у Нины Федоровны, толкает ее на самоубийство, и для достижения этой цели он и направлял эти свои действия.

Погруженный в свои муки, Ковалев не замечал мук жены, страдая сам, он подчас оставался глухим к ее страданиям, мучимый воспоминаниями, он не давал ей забыть о прошлом. Все это верно. Но он не хотел ее смерти, он никогда ничего не сделал сознательно и умышленно для того, чтобы толкнуть ее к окну на пятом этаже.

Ковалев сказал здесь: «Я не толкнул Нину к окну, но я и не удержал ее».

Думается, что это наиболее точное определение поведения Ковалева.

Его нельзя за это осудить по уголовному кодексу. Ковалев сам себя уже осудил. И никогда не перестанет себя осуждать. Его дети растут без матери. Он мог это предотвратить, но не предотвратил. Этому он не забудет.

Я знаю, какая требуется исключительная четкость правового мышления, чтобы, признав причинную связь между поведением Ковалева и самоубийством его жены, чтобы, видя перед собой распластанное на мостовой тело несчастной Нины Федоровны, не признать Ковалева виновным. Я знаю, что, решая судьбу человека, суд действует особо осторожно и зорко. Это и дает мне право верить, что Ковалев не будет осужден по обвинению в том, что он хотел смерти своей жены.

Пройдет немного времени, дети подрастут и потребуют ответа от отца: скажи нам, кто виноват в смерти матери? От вашего приговора зависит то, что сможет сказать отец сыновьям. Пусть же будет ему позволено сказать детям: «В смерти вашей матери я не виновен».

# ДЕЛО КУДРЯВЦЕВОЙ

## УБИЙСТВО ИЗ МЕСТИ

И. Н. Кудрявцева была предана суду по обвинению в убийстве своего мужа В. И. Кудрявцева из низменных побуждений (ст. 136 УК редакции 1926 г.).

Кудрявцева призналась в том, что убила своего мужа, который более 4 лет тому назад прервал с ней брачные отношения. Убила из мести. Кудрявцева мстила мужу за то, что он добился судебного решения о ее выселении в другую комнату, в другом доме. Это ухудшало ее бытовые условия. Никаких мотивов убийства Кудрявцева не выдвигала. Она показала, что знала о том, что у Кудрявцева имеется другая семья.

На суде Кудрявцева признала себя виновной и повторила свои показания о мотивах убийства.

Защита считала, что Кудрявцева скрывает подлинные мотивы, приведшие ее к преступлению, и что эти мотивы не носят низменного характера.

Дело Кудрявцевой слушалось в народном суде Ленинграда. По ст. 136 УК Кудрявцева была осуждена на длительный срок лишения свободы.

### *Товарищи судьи!*

Работникам дознания и следствия не пришлось искать убийцу: Ирина Николаевна Кудрявцева сама обо всем рассказала. Следствие длилось сравнительно долго, но оно не прибавило ни единого факта к тому, в чем Кудрявцева созналась в первый же день возникновения дела. Кудрявцева рассказала не только о фактах, она объяснила и мотивы, толкнувшие ее на убийство быв-



шего мужа. Следствие проверяло объяснения Кудрявцевой, очень тщательно проверяло и нашло, что они верны.

Свои объяснения Кудрявцева повторила в суде. И представители обвинения и гражданского истца заверяли вас, что Кудрявцева говорила правду, всю правду, и они призывали вас поверить ей и предостерегали вас, товарищи судьи, от ошибки, которая наступит, если вы склонитесь к тому объяснению преступления Кудрявцевой, которое даст вам защита в своей речи.

Представители обвинения и гражданского истца не только призывали верить объяснениям Кудрявцевой и отвергнуть те мои объяснения, которых они еще не слышали, но и аргументировали свой призыв, говоря: «Если бы Кудрявцева действовала по тем мотивам, о которых будет говорить ее защитник, разве она бы сама о них не сказала? Ведь эти мотивы в известной мере смягчают ее ответственность. Разве стала бы Кудрявцева отвергать их, если бы они были верны? Но Кудрявцева не хочет неправды и потому их отвергает».

Неплохой полемический прием! Ему нельзя отказать в остроумии. Защиту ставят перед альтернативой: или выдвигай свои объяснения и тем самым доказывай, что Кудрявцева говорила неправду, опорочивай ее чистосердечность и правдивость, или восхваляй вместе с нами ее редкостную правдивость — самое большое основание для смягчения наказания — и тогда соглашайся с ее объяснениями.

В деле действительно создалась очень своеобразная, как говорят военные, диспозиция, в которой стороны расположились так: на одной позиции прокурор и гражданский истец. Это естественно. Но рядом с ними, во всяком случае тогда, когда речь идет о выявлении мотивов, находится и подсудимая. На другой позиции — защитник, в полном одиночестве. С ним никого нет. Нет даже и подсудимой, которую он защищает.

Но если бы это была единственная трудность, с которой защите пришлось в этом деле столкнуться! Есть и другая, и гораздо более сложная.

Ирина Николаевна Кудрявцева согласна, чтобы был признан любой мотив, пусть даже в самой большей степени ухудшающий ее положение, но лишь бы не были вскрыты подлинные побудительные мотивы, обусловившие преступление. То, что ее душевное состояние, ее

переживания будут выставлены, как ей кажется, на всеобщее обозрение, страшит ее, ибо это доставит ей боль, которой она боится больше, чем наказания.

Это и обязывает меня быть особенно осторожным. Это обязывает меня кое-что не договаривать, на кое-что едва намекнуть, это заставляет меня просить вас досказать за меня в своем сознании то, чего я не могу, не смею сказать прямо всеми словами.

Но есть еще одно осложнение: так как Ирина Николаевна Кудрявцева многое из своих подлинных побуждений скрыла, то, естественно, не все факты мы могли полностью исследовать. В той жизненной картине, которую следует воссоздать, будут неизбежны пробелы и пропуски.

В деле имеются письма, отдельные документы, несколько разрозненных, случайно сохранившихся страничек дневника и показания свидетелей, которые только мельком касались мотивов преступления. Будем надеяться, что это все же позволит дать истинное объяснение событиям, приведшим Кудрявцеву к преступлению.

В первые же дни знакомства инженера Владимира Кудрявцева со студенткой последнего курса медицинского института Ириной Гривенко между ними возникли те отношения, которые потом, углубляясь и укрепляясь, должны были неизбежно привести к семейной драме. Это, конечно, не значит, что они должны были привести к преступлению, тем более — к убийству, но к семейной драме они не могли не привести.

Товарищ Ландау, представитель гражданского истца, в своей речи сумел ярко воссоздать облик Владимира Ивановича Кудрявцева. Мне остается только согласиться с этой характеристикой. Кудрявцев — человек сильного и острого ума, большой воли и удивительно разносторонних интересов. Прибавьте к этому незаурядные внешние данные, легкую насмешливость и спокойную уверенность в себе, и вам станет ясно, какое неотразимое впечатление он должен был произвести на двадцатитрехлетнюю студентку Ирину Гривенко. Она училась в Днепропетровске, приехав туда из маленького Синельникова. Замкнутая, на вид суровая от застенчивости, мечтательная и не разрешающая себе мечтать, она увидела в Кудрявцеве человека необыкновенного, человека

ее мечты, человека, пришедшего на корабле с алыми парусами. Все в нем поражало ее — и то, что ему близки и Сезанн и теория относительности, Блок и футбол, и то, что он быстро и метко судит о людях, всегда уравновешен, спокоен и великолепно владеет собой. Но больше всего ее поражало и удивляло — что же он мог найти в ней, скромной, ничем не заметной девушке? Почему он к ней стал проявлять нескрываемый интерес и внимание? Каждый, даже самый малый знак внимания казался ей неоправданным, не по заслугам полученным, казался ей даром, на который она не имеет права, но отказаться от которого у нее не хватало сил. И когда Кудрявцев предложил Ирине стать его женой, она почувствовала не только счастье, она почувствовала еще и благодарность. Не судьбе, а Кудрявцеву — за то, что он остановил свой выбор на ней. На этом нужно задержаться, ибо здесь лежат истоки будущих отношений.

Кудрявцеву было тогда немногим меньше 40 лет. Ирине Гривенко исполнилось 23 года. Она считала его мудрее, несравненно опытнее, чем она сама. И она заранее и от всего сердца соглашалась на все смотреть его глазами, все оценивать его оценками, все решать его решениями. Вы помните строки из первого письма Кудрявцева Ирине: «Да, Ира, ты права, любовь только тогда приносит счастье, когда один растворяется в другом». Один растворяется в другом! Не друг в друге, нет! Один растворяется, а другой остается самим собой. И тем, кому предстоит раствориться, будет отнюдь не он, Владимир Иванович Кудрявцев. Раствориться нужно ей, Ирине, молодой и неопытной. Она рада этому. Но отказ от себя самой никогда не проходит даром. Он всегда чреват бедой. Владимира Ивановича Кудрявцева могли прельстить, может быть и не на очень короткое время, это бескрайнее обожание, эта готовность отказаться от самой себя, полная самозабвенность в любви. Но вместе с тем все это должно было породить в нем сознание своего превосходства, сознание неравенства. Незаметно для себя и он стал проникаться ощущением, что это он осчастливил свою молодую жену тем, что выбрал ее, и ей нужно благодарить за это судьбу.

Меня могут спросить: из чего это видно? Какие

материалы дела дали мне право так рисовать отношения между Владимиром и Ириной Кудрявцевыми?

Да, подсудимая Кудрявцева ни на что в прошлом не жаловалась в суде. Не жаловалась и на следствии. Но ведь в деле имеются ее письма к матери. Перед самым близким человеком она раскрылась вся. Тогда она ничего не таила. В письме к матери, ни в чем не обвиняя своего мужа, всячески стараясь его представить в лучшем свете, Ирина Кудрявцева рассказывает, как сложились ее отношения с мужем. Через несколько месяцев их совместной жизни Кудрявцев сказал своей молодой жене:

«Я женился на тебе, когда мне было под сорок. У меня выработались прочно укоренившиеся привычки, и я не могу их менять. Если ты будешь настаивать, чтобы я от них отказался, я, конечно, постараюсь это сделать, но думаю, что ничего из этого не выйдет. И у нас начнутся ссоры и раздоры. Самое хорошее будет, если ты поймешь, что мне нужно предоставить возможность жить так, как я привык. Я не думаю и не говорю о встречах с женщинами, этого не будет! Но я хочу иметь возможность уходить к моим старым друзьям тогда, когда я этого пожелаю, причем без тебя; я могу засидеться у них, я могу сходить с ними в ресторан или сыграть партию в шахматы либо преферанс. Не волнуйся, не огорчайся и не обижайся. Будь терпелива, считайся с моими привычками, и у нас всегда будет мир. Ты увидишь, каким я буду добрым и внимательным мужем».

И молодая женщина, которой выпало счастье стать женой такого человека, как Владимир Иванович Кудрявцев, на все покорно соглашается. Только бы ему было хорошо!

Кудрявцев по вечерам уходит, а она остается дома. Долго тянутся вечера. Она волнуется, огорчается, тревожится и, бывает, плачет. А когда услышит, как Кудрявцев возится с замком у входной двери, поспешно вытирает слезы, чтобы он их не видел, не счел, что она в обиде, не разгневался.

Что ж, выходит, она была несчастна в браке? Нет, не была несчастной! И это видно из тех же писем к матери. Любовь научила ее многое прощать, и никакой другой жизни, как жизни с Кудрявцевым, она не

хотела. Об этом я могу сказать в полный голос. Своей любви к мужу Кудрявцева не скрывала, не отрекается от нее и сейчас. Далее наступит время, когда о чувствах Кудрявцевой я с такой полнотой и определенностью не смогу говорить. Кудрявцева считала, что те годы, которые она прожила с мужем в Ленинграде, были лучшими годами ее жизни.

Но вот пришла война. Дороги войны разлучили Владимира и Ирину Кудрявцевых. Она — военврач, он — офицер-артиллерист.

Первые полтора года они переписывались. Затем переписка оборвалась. Я сказал «оборвалась» и должен поправиться: эта безличная форма далеко не точна. Ирина Кудрявцева писала без конца, разыскивала мужа, с ума сходила от тревоги за него. А Владимир Кудрявцев, зная адрес своей жены, безмолвствовал; он не сообщал даже о том, что жив. Он не хотел дальнейшей переписки. Умолк и предоставил Кудрявцевой думать все, что она хочет, переживать все, что ей суждено пережить. Пусть, мол, привыкнет к мысли, что его нет. Но приучить себя к этой мысли, заставить себя поверить, что Владимира нет, Кудрявцева не могла.

Шел апрель 1945 года. Война подходила к концу, а о муже по-прежнему не было никаких вестей. Кудрявцева уже работала в Ленинградском госпитале. И здесь совершенно неожиданно она узнала от раненого солдата, что Владимир Иванович Кудрявцев — его командир — жив. Теперь она знала и номер его полевой почты. Кудрявцева решается написать мужу. Конечно, решается, — по-другому и не скажешь: ведь он столько времени молчал, может быть, порвал с ней. А может быть, что-нибудь мешало ему? Война. Чего только не бывает? И Кудрявцева написала письмо. Письмо робкое и наивное, особенно наивное в той части где она неумело хитрит. Ирина не хочет навязываться своему мужу, не хочет предъявлять на него никаких прав, не хочет ничего такого, что было бы сделано по обязанности, из долга, а не по сердечному влечению. Кудрявцева просит его объяснить свое молчание, объяснить правдиво и искренне, не боясь, что этим он сделает ей больно. Он не должен бояться этого, ей нравится (конечно, «только нравится») другой человек.

Все это выдумки! Нет никакого другого человека, но

не выдумать этого Кудрявцева не могла. Этого требовало ее женское самолюбие, в этом была ее наивная хитрость. Она сама созналась в письме к матери, что, написав о другом человеке, она надеялась, что Владимир Кудрявцев встревожится, может быть, даже начнет ревновать, может быть, даже напишет: «Береги себя для меня, ты мне нужна!» А когда написала и отправила письмо, тут же начала бранить и корить себя: зачем, мол, написала неправду? А что, если неправда огорчит Владимира? И, считая дни, ожидала ответа. Наконец ответ пришел. Кудрявцев писал:

«Я тебя всегда считал честным человеком. Считаю и сейчас. И жду, что ты поступишь так, как поступают честные люди. У меня другая семья. И у нас грудной ребенок. Я скоро демобилизуюсь, и мы вернемся в Ленинград. Я надеюсь, что ты освободишь мне мою комнату. Тебе как демобилизованному врачу предоставят другую».

В письме только о комнате и ни слова о чем-либо другом. Только о комнате! Да, еще и о том, что Кудрявцева — честная. Честная, если уйдет из своего дома, и станет бесчестной, если останется там. А она-то думала: встревожится, начнет ревновать, опечалится. И впервые ей стало стыдно за свои чувства. И впервые ей стало стыдно за него.

Прав гражданский истец: Владимир Иванович Кудрявцев был человеком и тонким и умным. Тонким и умным, — значит, понимал, какое впечатление вызовет его письмо, значит, резкость и немислимая грубость письма были отнюдь не невольным проявлением характера, а были продуманными, нарочитыми, точно нацеленными в то единственное, что осталось у Кудрявцевой, — в их прошлое. Подтекст письма достаточно ясен: «Не только не надейся на будущее, моя бывшая жена, но забудь и о том, что было; оно больше для меня не существует. Я приведу свою жену туда, где я был с тобой, и даже воспоминание о тебе нас не потревожит». Тонкий и умный человек Владимир Иванович! Он все верно рассчитал в своем письме. Кроме только одного — кроме того, что Кудрявцева будет так неблагоразумна, так нерассудительна, так мало практична, что не сможет легко расстаться со своим прошлым.

О, как бы хотела Кудрявцева расстаться со своим

прошлым и перестать чувствовать его власть над собой! И как бы она хотела не дать Кудрявцеву понять, что прошлое для нее не стало еще прошлым.

Позвольте мне, товарищи судьи, полнее не говорить, позвольте мне надеяться, что и вам понятно душевное состояние Кудрявцевой. Ничто не могло оскорбить и уязвить ее сильнее, чем если бы она показала Кудрявцеву, что то прошлое, которое для него перестало существовать, ею владеет до сих пор. Пусть что угодно думает о ней Кудрявцев, но пусть не догадывается, что ей еще дороги их первые годы жизни в Ленинграде.

Только помня это, мы сможем правильно понять дальнейшие события.

Проходит около года. После демобилизации Кудрявцев приезжает в Ленинград. Новая жена и ребенок там, у себя, ждут, пока он уладит вопрос о комнате. И Кудрявцев начинает энергично, очень энергично «улаживать вопрос». Кудрявцев прописывается у себя. Право на его стороне. Он поселяется в одной комнате с бывшей женой. И вот вскоре в одной комнате живут уже не муж и жена, а истец и ответчица. Они уже не только посторонние друг другу люди, они превратились в «стороны» по делу. Кудрявцев просит судебные инстанции, разбирающие их спор, только об одном: пусть Ирина Кудрявцева переедет в ту комнату, которую предоставляет ему его учреждение, а он, Кудрявцев, с новой семьей останется в прежней комнате: она и больше и приспособленнее для малолетнего ребенка.

А Кудрявцева рьяно, но юридически несостоятельно возражает против переезда в другую комнату. А действительно ли против своего переезда она возражает? Бьется ли она за то, чтобы остаться в комнате?

Позвольте просить вас, товарищи судьи, ответить себе на вопрос: а как бы разворачивались события, если бы Владимир Иванович Кудрявцев сказал своей бывшей жене: «Я понимаю, что ты здесь создавала свой дом. Здесь ты была счастлива, сюда ты вложила не только много труда, но еще больше сердца; здесь каждый вершок напоминает о прошлом, и тебе невыносима мысль, что в наш дом, вернее — в твой дом, войдет другая женщина и я с другой в этой же самой комнате буду так же счастлив, как был с тобой, а может быть, еще счастливее. Я понимаю тебя и предлагаю

тебе другое: мы обменяем нашу комнату и оба уйдем из этой комнаты. Согласна?»

Если бы так сказал Владимир Иванович, разве возникло бы судебное дело о выселении, разве копилось бы чувство обиды друг на друга, разве произошло бы непоправимое?

Но Владимир Иванович так не сказал и такое не предложил, — ведь он привык к тому, что в течение всей их совместной жизни самым главным, самым решающим для его жены были лишь его личные интересы, его благополучие, его желания. Чего же, в самом деле, она сейчас не идет им навстречу? Не хочет? Ну что ж, он ее заставит! Закон на его стороне.

И давая в суде объяснения и представляя свои возражения, Кудрявцева прибегала к словам-псевдонимам, к словам-маскам, к словам, которые не раскрывали ее истинных побуждений, ее подлинных чувств, а прятали и искажали их, прятали возможно глубже, чтобы Кудрявцев не мог их разглядеть.

В суде Кудрявцева выдвигала самые нелепые и неблагоприятные для себя выводы. Тут были ссылки и на то, что та комната, которую ей предлагают, мала, и что свою комнату она оклеила новыми обоями, и много другой такой же нелепицы. Словам-псевдонимам, словам-маскам верили, и казалось, что Кудрявцева борется за метры и цепляется за обои. Но разве это правда?

Исход дела в народном суде был предрешен, — ведь Кудрявцева не могла, не хотела раскрыть всей правды. Суд слышал только то, что говорилось, и судебный спор был решен в пользу Кудрявцева.

Отгремели первые судебные бури. «Противники» возвратились домой.

Я не склонен думать, что Владимир Иванович действовал из расчета, действовал, рассчитывая так: «Буду поласковее относиться к Ирине, она смягчится и, авось, не станет дальше судиться со мной». Я не склонен так думать. Не думала так и Кудрявцева. Вероятнее всего, Кудрявцев, чувствуя некоторое удовлетворение и полагая, что спор в основном уже решен, стал испытывать нечто вроде сострадания к той, которая все потеряла, и захотел как-то уменьшить ее душевную боль. Оттого-то он и стал немного мягче и внимательнее к своей бывшей жене.



Пораженная этой переменой в Кудрявцеве, измученная своим спором с тем, кто еще совсем недавно так много значил для нее, Ирина Кудрявцева, говоря словами свидетельницы Мирошниченко, явно участницы литературного кружка, «сменила кольчугу воина на дамскую блузку».

Говорят, что желание — отец мысли. Но то, что желание рождает веру, веру в то, во что, пожалуй, и не следовало бы верить, будь человек рассудителен, это не вызывает сомнения.

Проходит день, второй, третий. Кудрявцев все еще мягок и внимателен к Ирине, и надежда, ни на чем не основанная, но от этого не менее пленительная, надежда — дитя желания — замерцала перед Кудрявцевой.

Срок для обжалования решения народного суда истекает. Остался один день.

И вот в ночь, накануне последнего дня кассационного срока, происходит то, что вы уже знаете из показаний свидетельницы Гольцевой. Когда свидетельница стала об этом рассказывать, Кудрявцева закричала: «Не смей!» Но Гольцева досказала. И вот это «Не смей!», которое крикнула Кудрявцева, для меня имеет обязательную силу. Рассказа Гольцевой я повторять не буду.

А за завтраком, первым их общим за все это время завтраком, в тот день, утро которого они вместе встретили, Владимир Иванович заговорил, как о чем-то само собой разумеющемся, как о том, что так естественно вытекает из всего того, что было, он заговорил о том, когда и как Ирина будет вывозить свои вещи. Он даже предлагал ей свою помощь. Кудрявцева была настолько ошеломлена и потрясена, что даже Владимир Иванович, не очень склонный замечать чужие переживания, на этот раз заметил их. Он — честный человек, он не хотел, чтобы она оставалась во власти иллюзий, не хотел, чтобы заблуждалась, и он объяснил, почему пришел к ней.

Я не позволю себе никаких эпитетов, никакой характеристики, ни малейшей попытки дать оценку тому, что сказал в то утро Кудрявцев. Не нужно это! То, что он сказал, остается выжженным в мозгу у нас, у слушателей. С какой же силой то, что он сказал, ударило по Кудрявцевой!

Владимир Иванович Кудрявцев сказал: «Я пришел к тебе потому, что я полтора месяца был один».

Все, что было в прошлом, могла себе простить Кудрявцева, все могла оправдать своей любовью. И еще тем, что он, Кудрявцев, казался ей человеком необыкновенным, потрясающей силы и яркости. Шаг за шагом, день за днем развенчивал себя Кудрявцев в глазах Ирины. И все же где-то в глубине ее души еще жил прежний образ Кудрявцева. Как-то странно и удивительно — прежний и нынешний образ совмещались.

А вот того, что сейчас раскрылось, этого она и в нынешнем Кудрявцеве не могла допустить. И теперь уж не только себе, но и ему не могла простить она, что поверила, что позволила себе надеяться, что хоть на несколько часов, но распахнула перед ним свое сердце. И себя возненавидела. Но и его тоже. Вечером того дня Ирина Кудрявцева взяла топор и положила его себе под подушку на тот случай, если Владимир Иванович вновь почувствует, что он «долго был один».

Кассационная жалоба была подана. Судебный спор продолжен. С еще большей страстью, с еще большим накалом чувств. И вместе с тем с еще меньшей возможностью для Кудрявцевой вскрыть подлинные мотивы, с еще меньшей возможностью рассказать суду, почему она не в силах допустить, чтобы Кудрявцев остался в этой комнате, где так много ею пережито.

Кудрявцев резко переменился. Он не стал ни грубым, ни даже раздражительным. Он, видите ли, раньше был ласков, но она этого не оценила. Он был мягок, а она не растрогалась. Ну что ж, пусть пеняет на себя. На войне как на войне! И он стал презрительно безразличным к ней. Она как бы перестала для него существовать. Он больше не замечал ее. Он вызывал мастеров и договаривался с ними о ремонте комнаты, подчеркивая при этом, что вопрос о судьбе комнаты решен. Он улавливался даже о сроках.

Если бы и Ирина могла тоже ответить ему безразличием и равнодушием! Если бы и он перестал для нее существовать! Но Владимир Иванович по-прежнему занимал все ее мысли, владел всеми ее чувствами, пусть злыми, пусть яростными, пусть причиняющими только боль, но всеми ее чувствами.

И чем ближе был день слушания дела в кассацион-

ной инстанции, тем неотвязнее, тем отчетливее и нагляднее представляла себе Кудрявцева, как он, ее бывший муж, будет выселять ее. Спокойно, корректно и безжалостно. Без тени волнения и не допуская ни минуты промедления. Она представляла, как он станет готовить свой дом, теперь уже свой, для приема жены и ребенка и как пренебрежительно, даже брезгливо будет рассказывать о том, как беспомощна была в борьбе эта «ничтожная Кудрявцева» и как жалко она раскисла, стоило лишь поманить ее.

Чем ближе был день окончательного решения судебного спора, тем спокойнее и увереннее становился Кудрявцев, тем полнее он выказывал свое спокойствие и свою уверенность.

Сознание своего бессилия, обида, боль, горечь и злоба (злоба тоже!) с каждым днем все сильнее душили Кудрявцева. А спокойствие Кудрявцева только разжигало в ней ее муку.

В «Поединке» Куприна Ромашов говорит, что если долго повторять одно и то же слово, то исчезает его смысл, утрачивается его значение, и тогда только слышатся звуки, за которыми уже ничего нет. Спор о комнате, спор о комнате, спор о комнате, бесконечно повторяемый в сознании, в чувствах Ирины Кудрявцевой, давно потерял свой первоначальный смысл, исчезло его подлинное значение. Этот спор превратился в наваждение, в каждодневно обновляющуюся муку, в проклятие.

Кудрявцева находилась в том положении, когда не знаешь, чего в тебе больше: жажды развязки или боязни ее.

Пришел день слушания дела в кассационной инстанции. Уверенность и спокойствие Кудрявцева были не напрасны. Спор решен: комната остается за ним. В суде Кудрявцева снова говорила слова-псевдонимы, слова-маски, говорила о метрах и обоях, говорила, что из-за них она судится, их отстаивает.

Этим словам-псевдонимам поверила кассационная инстанция. Им поверили и следователь, и прокурор, и гражданский истец. А верить им было нельзя. Мы ведь теперь увидели, что скрывалось за словами Кудрявцевой. Мы многое увидели. Но это еще не все. Вспомним события того дня, который кончился убийством Владимира Ивановича Кудрявцева.

После суда Кудрявцев и Кудрявцева вернулись домой.

В этот день Кудрявцев вел себя так, что ему ничего нельзя поставить в вину. Если он и говорил по телефону со своей новой женой, так он был вправе это сделать: ведь и ее беспокоил исход дела.

Кудрявцев говорил громко, так громко, что каждое слово слышала и Кудрявцева. Но ведь очень много людей говорят, разговаривая по телефону с дальними городами, очень громко. И если Кудрявцев, не скрывая радости, уверял свою жену, что теперь уже остались считанные дни и она может быть спокойна, что тянуть с выселением он не позволит, то он никак не думал этим разговором досадить Кудрявцевой. Он просто никак не думал о ней.

Кудрявцев мог бы, пожалуй, и не повторять вслух предложения своей жены, но он повторил, и Ирина Кудрявцева услышала, как он обещал продезинфицировать комнату. Хорошо продезинфицировать. И не его, Кудрявцева, вина, что это обещание продезинфицировать комнату показалось Ирине Кудрявцевой издевательским.

Кудрявцев мог бы, пожалуй, и не подойти к книжному шкафу и молча, не говоря Ирине ни слова, отобрать там свои книги (очевидно, действительно свои), перенести их в свободный отсек платяного шкафа и запереть на ключ. Мог бы не делать этого, но, сделав, он никакой вины не совершил. Ведь, в конце концов, нельзя же винить Кудрявцева только в том, что у него не хватало чуткости или внимания к душевному состоянию своей бывшей жены.

А ей, издерганной и исхлестанной, все, что делал Кудрявцев, казалось подчеркнутым, нарочитым, злобным издевательством.

Вечером Кудрявцев ненадолго вышел из дома. Вернулся довольный, жизнерадостный, в явно приподнятом настроении. И, словно подчеркивая, что теперь уже незачем считаться с Кудрявцевой, он, не гася света, действуя так, точно он был один в комнате, стал раздеваться. Разделся, лег в постель и заснул.

Кудрявцева не ищет снисхождения, не хочет милости от суда, ничем не стремится смягчить свое положение, и у нас нет оснований отвергать объяснения подсудимой.

Кудрявцев уснул. Ирина осталась одна, со своей болью, обидой, отчаянием. И как она ни крепилась, но все же не выдержала: ее стали душить рыдания. Она не давала им воли, но они сами рвались наружу. И наконец она горько, навзрыд заплакала. Кудрявцева рыдала все сильнее и сильнее, пока рыдания не перешли в истерику. Эти рыдания разбудили Кудрявцева. Они мешали ему спать, и он сказал (нет, ничего бранного он себе не позволил, он даже вежливое «пожалуйста» прибавил): «Пожалуйста, помни, ты здесь не одна».

Сказал, отвернулся лицом к стенке и тут же вновь заснул. Кудрявцева встала, подошла к своей кровати и достала из-под подушки топор, тот, который лежал с той самой ночи.

Так совершилось убийство Кудрявцева.

Если Кудрявцева, как это ей вменяется, убила из мести, убила из-за того, что потеряла несколько метров площади, и из-за того, что в новой комнате будут обои худшей расцветки, то, конечно, это убийство из низменных побуждений, причем из таких низменных и отвратительных, что хуже и представить трудно. Но ведь это неправда! Не из-за метража и обоев вела свой яростный спор Кудрявцева. Обида, страдание и злоба накладывались одно на другое, множились, сливались. Наконец они стали столь мучительными, что достаточно было крупинки, чтобы Кудрявцева не выдержала.

Нет спора, что само по себе, взятое в отрыве от прошлого, замечание Кудрявцева: «Пожалуйста, помни, ты здесь не одна» — не могло бы вызвать взрыва. Но ведь оно, это замечание, стало последним толчком и вызвало «короткое замыкание».

Женщина-врач убила, а сама Кудрявцева говорит про это точнее и безжалостнее — топором зарубила того, кто был ее мужем. Из жизни ушел во многом одаренный человек. И какими мелкими и ничтожными теперь, когда не оторваться от мысли о его смерти, кажутся все прошлые обиды и оскорбления. Кудрявцева держит ответ и перед своей совестью. И для нее было бы плохой услугой попытаться хоть чем-нибудь приуменьшить ее вину. Как, впрочем, недопустимо и усугублять эту вину, отказывать Кудрявцевой в справедливости, не признавая того, что она убила в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения.

Но было ли убийство вызвано тяжким оскорблением? Ведь только в таком случае и может быть применена статья 138 Уголовного Кодекса.

Если сейчас спросить Кудрявцеву, было ли ей нанесено тяжкое оскорбление в тот вечер, когда было совершено убийство, она, в согласии со своей совестью, ответила бы: нет! В этой злополучной фразе: «Пожалуйста, помни, ты здесь не одна» — есть безразличие и равнодушие. Кудрявцев не захотел быть ни чутким, ни даже человечным. Все это так. Эта фраза могла причинить боль, ранить. Все эти чувства были во много раз усилены ранее перенесенными страданиями. Но здесь нет тяжкого оскорбления. В этот вечер оно не было нанесено. Слова «Пожалуйста, помни» вызвали боль, ярость, острое желание отомстить тому, кто так безжалостно причинял страдания, и, поддавшись взрывной силе этих чувств, Кудрявцева убила того, кто заставил ее так много страдать.

В полном соответствии с требованием закона Кудрявцева должна нести ответственность по статье 137 Уголовного Кодекса.

Товарищи судьи! Когда Кудрявцева приписывала себе самые низменные побуждения, то, может быть, она это делала не только из желания скрыть свои подлинные чувства к тому, кто был ее мужем. Может быть — и в это верится, — она измеряет свою вину такой строгой и большой мерой, что ей кажется недопустимым хоть как-нибудь бороться за смягчение своей участи.

Суд над собой не кончается вынесением приговора по уголовному делу. Суд над собой — дело трудное и нужное. Очень нужное. И для Кудрявцевой этот суд не скоро кончится. Чем дольше он будет идти, тем с большей, поистине беспощадной ясностью она станет понимать, в какой напрасный и ненужный спор она втянулась из-за прошлого, которого не было, из-за счастья, которое только померещилось, и как чудовищно этот спор она разрешила. Кудрявцева не искала снисхождения у вас, она не окажет его себе и в своем суде над собой. Если вы в это поверите, это даст вам право, товарищи судьи, быть снисходительными к ней.

# ДЕЛО Т. М. И С. М. ГРАЧЕВЫХ

## ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС

*(Речь представителя гражданского истца)*

Семен Борисович Кушнир, 27-летний врач-стоматолог, был арестован по обвинению в том, что он продал свой паспорт шпиону, немецкому резиденту.

Кушнир, отрицая свою вину и утверждая, что паспорт у него был украден во время поездки в Белоруссию, просил в опровержение обвинения вызвать свидетелем Сергея Грачева, брата его жены, так как тот ехал вместе с ним и знает о краже паспорта.

Кушнир не знал, что обвинение против него возбуждено по доносу, поданному Сергеем Грачевым.

На очной ставке между Кушниром и Грачевым последний не только показал, что Кушнир продал паспорт шпиону, но убеждал Кушнира покаяться и признать себя виновным.

Так как и Таисия Грачева, жена Кушнира, и ее отец, Михаил Зосимович Грачев, знали о краже паспорта, то для того, чтобы разоблачить клевету Сергея Грачева, Кушнир просил допросить их.

На допросах и очных ставках и Таисия Грачева, и ее отец дали ложные показания, изобличающие Кушнира в совершении преступления. Вина Кушнира казалась бесспорно установленной. Но следственные власти сочли необходимым допросить домашнюю работницу Кушнира и Грачевых (они жили одной семьей). При допросе домашней работницы — свидетельницы Лопатиной — клевета Грачевых была разоблачена. В ответ на запрос следователя, из Белоруссии сообщили, что паспорт Кушнира был действительно похищен, вор обнаружен и паспорт отобран. Кушнир был освобожден из-под стражи, а против Таисии и Сергея Грачевых было возбуждено

уголовное дело по обвинению в ложном доносе, в искусственном создании обвинения в тяжелом преступлении. Уголовное дело против М. З. Грачева ввиду его престарелого возраста не было возбуждено.

Дело по обвинению Таисии и Сергея Грачевых слушалось в народном суде Петроградского района Ленинграда.

Кушником был предъявлен гражданский иск, что давало право представителю его интересов доказывать в суде виновность Грачевых. Приводится речь в поддержание гражданского иска и обоснование обвинения.

Т. и С. Грачевы приговорены к максимальной мере наказания, предусмотренного ст. 95 УК (редакции 1926 г.).

### *Товарищи судьбы!*

В суде нередко бывает так, что какой-нибудь, совсем крошечный, мимолетный эпизод вдруг раскрывает самую потаенную суть дела, подводит нас к его истокам. Такой эпизод произошел во время допроса Грачева Михаила Зосимовича.

Давая показания, он сказал о себе: «Я никогда и в свидетелях-то не был». Этим он как бы подчеркивал и свою неискренность в судебных делах и уж, конечно, полную свою непричастность к чему бы то ни было предсудительному.

Председательствующий спросил Михаила Зосимовича: «Не были свидетелем? А разве вы не давали показаний по делу вашего зятя?»

И тут Грачев, как бы удивившись своей короткой памяти, припомнил, что по делу Семена Борисовича Кушника ему «довелось быть в свидетелях», и — куда тут денешься? — он действительно давал показания.

Я не думаю, что Грачев, говоря неправду, сознательно обманывал суд, понимая, что обман тут же будет обнаружен. Нет, Грачев, очевидно, поддался острому, очень острому желанию, чтобы его участие в деле зятя забылось. Для этого у него бесспорно были основания.

И, конечно же, не меньше, чем он, хотели бы и дочь его, Таисия Грачева, и сын, Сергей Грачев, чтобы их участие в возведении ложного обвинения на Кушника было бы, если не полностью предано забвению, то хотя



бы немного смягчено и умалено. На это-то и были направлены все их усилия в суде. Ведь Грачевы пытались изобразить дело так: «Да, мы сболтнули кое-что лишнее, где-то хватили через край, в некоторых случаях несколько отошли от правды, но сделали-то все это мы только потому, что не смогли совладать с порывом. Пусть порыв ошибочен, но по-человечески он понятен, больше того, в какой-то мере он даже благороден и уж во всяком случае извинителен. Так из-за чего же бить в барабаны и поднимать шум?»

Если бы не это стремление всей семьи Грачевых насколько возможно притупить и приукрасить свою вину, если бы Грачевы действительно испытывали глубокий и горячий стыд от того, что они сделали, если бы они сами себя сурово и безжалостно осуждали, то Семен Борисович Кушнир не предъявил бы своего иска. Не возмещения он ищет. И не мести жаждет. Он преследует одну цель: пусть правда, вся правда раскроется. Доноски должны быть до конца разоблачены. Ничего из того, что они совершили, не должно остаться нераскрытым. И добиваться этого — не только право Кушнира, но и его обязанность. Моральная и общественная обязанность!

Но разве Таисия и Сергей Грачевы не признали себя виновными? Чего еще требовать от них? Да, Грачевы признали себя виновными! Но как? Простые и четкие факты они огородили таким частоколом объяснений, дополнений, поправок и уверток, что за ним трудно стало разглядеть правду.

А когда от фактов никак нельзя было уйти, тогда семья Грачевых дружно впадала в лирику, пытаясь убедить, что важно отнюдь не то, что они совершили, а то, что они при этом переживали. А переживания в семье Грачевых — только утонченные, возвышенные и чистые. Другие — не водятся.

К доводам подсудимых нужно всегда относиться внимательно и непредубежденно. На это имеют право и Грачевы. Постараемся разобраться в их переживаниях. Но и в делах тоже! И начнем с фактов — свободных от прикрас, очищенных от словесной патоки. Итак, факты, как они есть!

14 июня этого года Семен Борисович Кушнир вышел из вагона поезда на станции Орша и направился в вок-

зальный ресторан. Вместе с ним шел и Сергей Михайлович Грачев, брат его жены. Пообедав, оба вернулись в вагон и тут обнаружили, что из купе был похищен пиджак Кушнира. В кармане пиджака были бумажник и паспорт.

Сергей Грачев и его шурин печалились из-за кражи. Они вместе принимали меры, чтобы отыскать вора, вместе ходили к начальнику поезда просить сообщить линейной милиции о случившемся, вместе сокрушались из-за неосмотрительности Кушнира. При этом Сергей Грачев проявил чуткость: он утешал Кушнира и убеждал его, что вор будет найден и паспорт возвращен.

Итак, можно считать установленным: Грачев знал, где, когда и при каких обстоятельствах Кушнир лишился своего паспорта. Следовательно, если бы было установлено, что Грачев кому-либо или где-либо заявил, что у Кушнира паспорт не был похищен, то это означало бы только одно: Грачев говорит неправду! И при этом заведомую.

Это Сергей Грачев понимает. И поэтому он так мечется в своих показаниях. Ведь ему нужно выбрать путь между правдой и неправдой. Вопросы морали его не волнуют, его занимает только один вопрос: что безопаснее? Сказать правду — страшно: больно она неприглядна. Но и неправда не спасает — в ней легко уличить. Вот и тянется Грачев к спасительному «не помню».

— Вы ведь знали, что паспорт у Кушнира украли на станции Орша, — напомнили Грачеву во время допроса.

Ответить «знал» — значило признать себя виновным. Ответить «не знал» — значило быть неминуемо изобличенным.

Вот Грачев и стал жаловаться, что, мол, всему виной злодейка память, — который раз подводит. Знал, конечно, про паспорт, но вот беда, в памяти не удержал.

Как легко и спокойно жилось бы Грачевым, если бы, сказав «забыл», можно было бы предать забвению все то, чего нельзя простить. Но Сергей Грачев, едва сославшись на плохую память, сразу же сообразил, что не к той уловке он прибег, не даст она ничего хорошего, а другой не сыскать. И тогда нехотя, через силу Сергей Грачев выдал из себя: «Да, я знал правду, а говорил неправду».

«Говорил неправду». В устах Грачева это звучит этаким пустячком, невинной чепушинкой. Просто взыграла у человека фантазия, прельстила легкокрылая выдумка, вот он и соблазнился и отступился от правды. Подумаешь, велика беда.

А ведь какой страшный, какой чудовищный смысл в этой неправде, в которой сознался Грачев! Этой неправдой Сергей Грачев обдуманно, хладнокровно, выверяя каждое слово, чтобы не ускользнула жертва, готовил не только муку, не только позор, но и физическую гибель для Кушнира. Опозорить, обречь на муку, а потом умертвить — вот чего добивался Грачев, когда повторял свои слова: «Знал правду, а говорил неправду».

Напомним Грачеву, чья память так ненадежна, в чем же заключалась его «неправда».

В конце августа этого года Сергей Грачев сообщил следственным органам, что Кушнир продал свой паспорт немецкому резиденту.

Грачев знал, что не было никакого резидента и что Кушнир не предавал Родины. Он прекрасно понимал, чем все это грозит Кушниру, и рассчитывал, что ему, Сергею Грачеву, патриоту, ставившему интересы Родины превыше всего, поверят, и тогда Кушниру не избежать приуроченной судьбы.

Сообщив следственным властям свою «неправду» (насколько все же деликатен в характеристике своих поступков Сергей Грачев!), может быть, он ужаснулся, бросился исправлять то зло, которое он причинил Кушниру, может быть, раскаялся? Может быть, Сергей Грачев, поддавшись порыву, действовал в помрачении если не разума, то совести? Нет, этого не было. Больше того, Грачев сообщил, что Кушнира уже вызывали в следственные органы.

Кушнир с негодованием отвергает все эти обвинения. Не зная, от кого они исходят, Кушнир просит, Кушнир настаивает, Кушнир требует, чтобы допросили не кого иного, как Сергея Грачева: он-то уж подтвердит, что паспорт украден.

Следователь охотно идет навстречу пожеланиям Кушнира, допрашивает Грачева и устраивает очную ставку последнего с Кушниром.

Нетрудно представить себе состояние Кушнира. Против него выдвинуто тягчайшее из обвинений. Оно возму-

щает его, это верно, но оно и угнетает его, и страшит! Но Кушнир знает, что его спасение в руках у Грачева. Вот придет Грачев, скажет правду, и все развеется. С какой надеждой и как нетерпеливо ждет Кушнир очной ставки с Грачевым.

Но не только Кушнир, но и Грачев знает, что в его руках судьба мужа его сестры, знает, какое большое и, по сути дела, решающее значение придается его показаниям.

И вот оба — Кушнир и Грачев — встречаются на очной ставке.

Когда Грачев заговорил, Кушнир вначале даже не мог понять того, что услышал. Сидя против Кушнира и глядя ему в глаза, Сергей Грачев мягко, дружески, совершенно по-родственному просил Кушнира не запирается, убеждал его, что не гоже лгать, что ложь, дескать, к добру не приведет! Нет, Сергей Грачев не корил, не возмущался. Нет! Он ласково уговаривал Кушнира принести покаяние, и совесть свою он очистит, и снисхождение получит! Пусть он только назовет резидента, укажет, как найти его.

Грачев видел, как меркнет сознание у Кушнира от ужаса перед тем, что он услышал, видел, как нестерпима боль, которую он причинил Кушниру, видел, как рушится у Кушнира вера в человека. Все это видел и не дрогнул, не заколебался и продолжал, продолжал предавать.

Да, вот оно настоящее слово: предавать!

«Я говорил неправду» — так сказал о себе Грачев. А ведь он должен был сказать другое. Но так как он не сказал, то мы за него скажем: Грачев не говорил неправду — он предал! Знал, что предает, и предал. Предал для того, чтобы Кушнир, как враг народа, был расстрелян. Предал, считая, что со смертью Кушнира предательство не будет раскрыто!

Грачев все сделал для того, чтобы предательство не было раскрыто. Он ведь знал, что Кушнир будет предан не только им, но и той, кто явилась главной вдохновительницей предательства, — Таисией Грачевой.

Кушнир, едва придя в себя от того, что он услышал от Сергея Грачева, назвал его, — увы, не очень парламентски, но так записано в протоколе, и я не имею права цитировать неточно, — «лгуном и клеветником» и потре-

бовал вызова Таисии Грачевой и ее отца — Грачева Михаила Зосимовича. Они, утверждал Кушнир, знают правду и опровергнут вымысел Сергея.

Следствию важно было знать правду, и оно удовлетворило просьбу Кушнира.

Первой была вызвана Таисия Грачева.

— Да, — показала она, — Семен Кушнир — мой муж. Отношения у нас хорошие. Я не могу пожаловаться на мужа, как, впрочем, и он на меня. До сих пор я ничего плохого за мужем не замечала.

От показаний Таисии Михайловны так и веет благородством и доброжелательностью. Муж под стражей, а она от него не отрекается, она смело говорит о нем только хорошее. И насчет паспорта она должна сказать, что не слышала, чтобы паспорт был продан немецкому резиденту. Если бы она узнала о намерении продать паспорт шпиону, она бы не допустила этого. Но она не может скрыть от следствия, что поражена тем, что муж сказал неправду. Ведь никакой кражи паспорта на станции Орша не было. Это она твердо знает. Когда муж вернулся в июне из поездки, паспорт при нем был. И бумажник был в сохранности. Нет, она не верит, что муж мог заявить, что паспорт был украден. Зачем ему выдумывать то, чего не было? Она знает, что паспорт пропал. Но только пропал в другое время и при других обстоятельствах. Паспорт пропал у мужа совсем недавно. Если брат ее, Сергей, говорит, что паспорт пропал в августе, то это верно, так ей и муж говорил. Он катался с приятелем на лодке по Неве, уронил пиджак в воду, паспорт выпал из кармана и затонул. Она это хорошо помнит. Правда, сначала она не поверила в то, что в лодке с мужем был приятель, по-женски немного приревновала, но потом поверила мужу.

Как видите, Таисия Михайловна вела себя Пенелопой, не заботясь о себе, верно охраняя интересы мужа. Разве не заявила она, что ничего не знает о продаже паспорта? Разве не решилась вступить в противоречие с единокровным братом своим?

Кушниру была дана очная ставка с его женой. И на очной ставке Таисия Грачева, зная, что паспорт был украден, заверяла следствие, что паспорт не был похищен и ее муж это просто выдумывает. Грачева знала: единственное, что может спасти мужа, это — если она

расскажет правду и подтвердит объяснение мужа. И все же она заверяла следствие, что объяснения мужа лживы. Она знала, что паспорт был украден в июне, в Орше, и все же, чтобы подкрепить показания своего брата, заверяла следствие, что паспорт исчез в августе.

Пенелопа с Провиантской улицы действовала тоньше и опаснее, чем ее братец. Стоило ей подтвердить полностью показания Сергея Грачева, и тогда у следователя могла возникнуть мысль, что брат и сестра сговорились погубить Кушнира. Но какой же тут может быть сговор, если они показывают разное? Разное, но одинаково опасное для Кушнира!

Не позволим себе сейчас отвлекаться мыслью о том, что пережил Кушнир, видя, как обдуманно, расчетливо и безжалостно губят его жена и ее брат, как страшно ему было сознавать, что бессмысленная гибель становится все неотвратимее. Не позволим себе сейчас отвлекаться мыслью о Кушнире. Давайте сначала установим факты, только факты. Те самые, признанию которых так отчаянно противилась Таисия Грачева.

— Были ли у вас хоть малейшие основания сомневаться в том, что паспорт у Кушнира был украден в Орше? — спросили Грачеву.

Грачева молчит.

— Были или не были основания? — переспрашивают Грачеву.

И тут вместо краткого, но опасного «да» или не менее опасного «нет», вместо четкого, определенного ответа следует каскад благородных фраз, взрывов негодования, взлетов высоких чувств — словом, Ниагара эмоций и ни грана правды!

Но Грачевой не удалось уйти от ответа. Ее продолжали допрашивать, и в конце концов, трепетная и возвышенная, так и мерцающая одухотворением, Таисия Грачева опустила на грешную землю и призналась: лгала! Призналась в том, что Кушнир ничего не говорил ей о потере паспорта в Неве, а она все это сама выдумала, понимая, что подрывает веру в показания Кушнира.

Чтобы покончить с фактической стороной дела, нам необходимо вспомнить показания отца Таисии и Сергея Грачевых.

Седая борода, стан, согбенный годами, тихий уста-

лый голос, медлительная и осторожная речь, как и пристало старости. Все в облике Михаила Зосимовича Грачева внушало уважение, все побуждало верить всему, что он скажет. Если бы возникло хоть малейшее сомнение, то устыдиться должен был бы тот, кто разрешил себе усомниться в правдивости старца, патриарха семьи. Светясь святостью и преданностью истине, Михаил Зосимович показал на следствии: действительно, однажды при нем, главе семьи, шел спор между его сыном Сергеем и зятем Семеном. Сергей умолял, заклинал, требовал от Кушнера не продавать паспорт какому-то иностранцу. Сергей предупреждал, что продажа обернется бедой для Кушнера, но тот ничего и слушать не хотел. А когда сам Михаил Зосимович попытался удержать зятя от опасной затеи, то Кушнер позволил себе оскорбить тестя. Но Михаил Зосимович обиды не держит. Он только попросил и Сергея и Кушнера ничего не рассказывать Таисии. Кушнер ведь все равно сделает, как решил, а бедная Таисия лишится покоя.

Показания главы семьи, ее патриарха, замкнули круг. Участь Кушнера решена. Вина его установлена показаниями трех свидетелей, тех самых, на вызове которых он настаивал, утверждая, что они покажут только правду. Вина его установлена показаниями свидетелей, которые желали ему добра, только добра, ничего, кроме добра.

И трудно сказать, что больше мучило и угнетало Семена Борисовича Кушнера: то ли, что его, невинного, считают изменником, то ли та глубина предательства, раскрывшаяся перед ним в людях, которые еще недавно были ему близки и дороги.

Всё, что могли, сделали Грачевы для того, чтобы следствие считало, что оно располагает необходимыми доказательствами вины Кушнера. Но Грачевы не знали, что следствие не ограничится их показаниями. Следствие не могло не искать, кем же является этот резидент иностранной разведки? Кто он?

Семью Грачевых обслуживала домашняя работница, свидетельница Лопатина Екатерина Николаевна, пожилая женщина, много повидавшая на своем веку. Она памятлива и приметлива. Лопатину вызывают свидетельницей. Ведь она сможет рассказать, кто ходит к Кушнеру, авось и наведет на след резидента.

Екатерину Николаевну Лопатину допрашивают, и, к удивлению следователя, она решительно опровергает показания Грачевых. Лопатина показывает, что паспорт был украден у Кушнира в июне, во время поездки в Белоруссию. Украли вместе с пиджаком. «Как же не украден? — возмущается свидетельница. — Разве один только Семен Борисович об этом рассказывал тогда же, в июне, как возвратился? Ведь и Сергей Михайлович рассказывал, да и Таисия Михайловна ругала Семена Борисовича: нельзя быть таким разиней и оставлять пиджак в купе».

Настойчивая, прямая и резкая, Лопатина на очных ставках уличает во лжи и усиленно негодующего Сергея Грачева, и томно-скорбящую Таисию Грачеву, и внешне спокойного, поглаживающего свою седую бороду Михаила Зосимовича.

И тогда следователь, правда с некоторым опозданием, но все же делает необходимое. Он запрашивает линейную милицию на станции Орша и получает ответ: паспорт был украден, вор задержан и паспорт обнаружен.

Круг разомкнулся, тот, в котором был Кушнир. И вновь сомкнулся. Но теперь уже внутри него оказались Грачевы.

Таковы факты по делу. Они установлены с непреложностью. В них не осталось никакой неясности или неопределенности. Все до предела ясно: Таисия и Сергей Грачевы не только возвели ложное обвинение, но заранее его продумали, разработали все детали, распределили роли и точно отмерили, какую долю лжи, клеветы и предательства каждый из соучастников преподнесет следственным властям.

Всё продумали, всё подготовили, всё рассчитали. Всё! Кроме только того, что существует честность и справедливость и действительно неиссякаемое стремление к честности и справедливости. Всё учли, кроме только того, что в нашей стране живут такие люди, как Екатерина Николаевна Лопатина, честные, прямые, мужественные, и что таких у нас большинство. Это был единственный просчет Грачевых, и он оказался решающим. Он-то и дал возможность разоблачить Грачевых.

Вина подсудимых в ложном доносе, в искусственном создании тягчайшего обвинения, в настойчивом стрем-



лении погубить ни в чем не повинного человека доказана полностью и неопровержимо.

Но разве этим ограничивается вина Грачевых? Грачевы кощунственно пытались осквернить и загрязнить самые высокие и чистые чувства наших людей. Любовь к Родине, заботу о безопасности Родины, уважение к закону Грачевы пытались поставить на службу своим низким целям, сделать орудием мести.

Грачевы рассуждали так: «Если мы донесем на Кушнира, что он предал Родину, то любовь к ней, тревога за нее, гнев против предателя будут настолько сильны, что нас не станут особо тщательно и внимательно проверять». Подумать только: любовь к Родине поставить на службу доносчикам! Тревогой за Родину запорошить глаза следствию и сделать закон орудием беззакония! Вот на что был направлен умысел Грачевых, вот на что они пошли.

И следствие и суд ничему не научили Грачевых. Если раньше они спекулировали на патриотизме наших людей, чтобы погубить Кушнира, то в суде они спекулируют на других, но также высоких чувствах, чтобы смягчить свою вину и приукрасить ее.

Таисия Грачева, ведя, так сказать, основную партию, которой Сергей Грачев только вторил, пыталась на суде изобразить этакую душеспиритную картину: молодая женщина горячо и беззаветно любит, а в ответ на свою трогательную и самозабвенную любовь терпит надругательство и издевку. Видя, как ее святое и возвышенное чувство Кушнир втоптывает в грязь, она, Таисия Грачева, преисполнилась горечью и справедливым гневом и возжаждала, чтобы виновный в издевательствах был наказан. Это ей казалось справедливым. Те же чувства обуревали и Сергея Грачева, который понимал и разделял страдания сестры.

Я обещал, что переживания подсудимых не будут забыты. Попытаюсь их оценить. Но должен наперед сказать, что Таисии и Сергею Грачевым сочинение доносов куда больше удастся, чем психологические изыскания. Очевидно, каждому надо делать то дело, которое ему больше по душе. Если отшелушить объяснения Таисии Грачевой от того красноречия в стиле жестокого романа, которым она так обильно потчевала нас, то окажется, что единственное, в чем провинился Кушнир

перед ней, это в том, что он вознамерился расторгнуть с ней брак. Чего только не было здесь наговорено о той буре чувств, которая потрясла Таисию Грачеву, когда она узнала о намерении своего мужа.

Можно с какими угодно придыханиями и закатыванием глаз умиляться репейником, но от этого он фиалкой не станет. Если трезво и спокойно смотреть правде в глаза, то откуда, скажите на милость, взяться ей, этой буре чувств, если и чувств-то настоящих не было.

Три года тому назад Семен Кушнир и Таисия Грачева поженились. Тогда не пели соловьи, не вскипали страсти, не трубили рога. Поженились, потому что приглянулись друг другу, но не больше. Потому что порешили, что брак представит некоторые удобства для каждого из них и для них обоих. Потому что рассчитывали, что «стерпится — слюбится». Бывают ведь и такие браки. И они стали жить вместе, не так, чтобы душа в душу, но и не так, чтобы постоянно грызться.

Так прошло немногим больше двух лет. И Семен Кушнир почувствовал, что брак без любви, без душевной близости, брак, в котором каждый день только все больше отдаляет мужа от жены, такой брак не нужен. Просто-напросто оказалось, что пошловатая мудрость «стерпится — слюбится» дала осечку. Таисии Грачевой не к кому было ревновать мужа, никакая женщина не вошла в его жизнь. И это подтвердила сама Грачева. В явном стремлении драматизировать свои переживания она невольно проговорила, признав, что уже через год после брака поняла, что Кушнир ее не любит. Любимый перестал любить, из жизни ушла любовь! Скорбите же, Таисия Михайловна, горюйте, впадайте в отчаяние! Не прощайте, не миритесь с потерей! Или, раз уж на то пошло, вознегодуйте, Таисия Михайловна!

Но нет, Таисия Михайловна поняла, что Кушнир не любит, и с этим спокойно примирилась, приняла это за должное. В обиходе семьи ничего не изменилось ни в отношениях, ни даже в планах на будущее. В браке можно легко обойтись без любви, рассуждала Таисия Грачева. Пусть сегодня она это отрицает, это дела не меняет. Вся последующая жизнь убедительно доказывает, что отсутствие любви никак не влияло на Таисию Грачеву.

Но вот Кушнир захотел расторгнуть брак. О, это совсем иное дело! Расторгнуть брак — значит лишиться

Грачеву многих, и очень существенных, удобств, отобразить то, что она считала уже навсегда своей собственностью, значит заставить Грачеву вновь самой заботиться о себе. «Я и моя собственность!» Таисия Грачева могла и не знать Штирнера, но точнее всего и вернее всего все ее стремления и ощущения выразились в этой формуле: «Я и моя собственность». «Меня лишают собственности или того, что я считаю своей собственностью. О, этого я не потерплю» — таковы истинные «движения души» Грачевой. И ничего не вызывает такой ненависти у мелкого собственника, как попытка хоть в чем-нибудь умалять эту его собственность. Недаром Маркс называл такого собственника «взбесившимся».

Грачева не смеет говорить здесь о любви, о привязанности, о супружеской нежности. Она так же мало имеет прав говорить об этих чувствах, как и тот собственник сада, который ночью с ружьем в руках подстерегает соседского ребенка, чтобы выстрелить в него, если он перелезет в сад и попытается сорвать яблоко.

Своими ощущениями, — я не могу то, чем жила Таисия Грачева, назвать чувствами, — своими ощущениями Таисия Грачева поделилась с братом и отцом. Как просто, как быстро и как легко понял ее Сергей Грачев. Грачевы и Кушнир жили одной семьей. Уход Кушнира наносит некоторый ущерб бюджету семьи. Уход Кушнира наносит ущерб Таисии. Ощущения Таисии — это ощущения и остальных членов семьи. Семья Грачевых, тесно спаянная семья Грачевых — это союз собственников, совместно охраняющих собственность от всех остальных, даже если они на нее и не покушаются. И ненависть Таисии — это ненависть всех остальных членов семьи. И никого не останавливает чудовищность мести, никто не испытывает даже колебания при ее свершении.

Месть собственников — вот чем на проверку оказывается подлинная побудительная причина преступления. И никакими разглагольствованиями о высоких материях ее не скрыть.

Я мог бы, пожалуй, больше и не говорить о Грачевых, если бы не то поистине чудовищное лицемерие, которое они проявили здесь, в конце судебного следствия.

Тому, что Грачевы лицемеры, удивляться нечего. Было бы удивительно, если бы они не были лицемерами. В облик доносчика лицемерие входит обязательной чер-

той. Ведь доносчик действует за спиной, он скрывает не только свои действия, но и свое отношение к тому, на кого он строчит донос. Он улыбается тому, кому он готовит беду, он выказывает доброжелательность и душевное расположение к тому, на кого он доносит, улыбки и ласковое слово служат ему как бы ножнами, в которых он прячет нож. Нет ничего удивительного в том, что Грачевы лицемеры. Удивляться приходится другому: поражаешься чудовищности и глубине их лицемерия. Ведь рядом с ними Тартюф и Иудушка Головлев — робкие новички.

Дополняя судебное следствие, сначала Таисия, а затем и Сергей Грачевы заявили, что у них и в мыслях не было погубить Кушнера. Они-то знали, что невиновного человека у нас не осудят ни за что, они считали, что Кушнера допросят, он поволнуется, его короткое время подержат во время следствия в тюрьме, затем, конечно, выпустят как невиновного, но все это будет ему уроком.

Сестра и брат Грачевы с таким тремоло в голосе заверяли: «Мы верили в то, что следственные власти не допустят обвинения невиновного». Разоблачить лживость этой последней увертки Грачевых совсем нетрудно. Послушаешь их и поймешь: они хотят, чтобы мы поверили, что они продумывали, договаривались и подавали донос для того, чтобы он был разоблачен, лгали, чтобы их ложь была раскрыта, возводили ложное обвинение, чтобы оно было опровергнуто, клеветали на Кушнера для того, чтобы самим быть обвиненными в преступлении.

Но не так просты Грачевы. В их лжи, в их лицемерии есть свой смысл. Грачевы как бы предостерегают нас: «Будьте осторожны, не считайте наш донос опасным, вы тем самым как бы допускаете мысль, что следственные органы могли ошибиться, могли предъявить обвинение невиновному. Считайте, что следственные органы всегда проявляют необходимую бдительность, и тогда станет ясным, что ложный донос не опасен. Он всегда будет разоблачен».

Пусть нас избавят Грачевы от своих предостережений! Не Грачевым учить нас уважению к следственным органам. Да, следственные органы должны быть бдительны и осторожны в своих действиях, должны прове-

рять доносы. Но разве это уменьшает опасность доноса и опасность доносчиков? Доносы — отвратительное и нетерпимое зло, доносчики — опасные и тяжкие преступники. Они вызывают не только брезгливость и омерзение, они вызывают и ненависть, тем более острую, чем усиленной доносчик пытается свое грязное дело объяснить добрыми побуждениями. Донос причиняет зло не только невинному человеку, но и правосудию. Доносчик замахивается на наше общее благо, на правду, на честь, на безопасность советского человека.

По вине Грачевых много тяжелого и страшного пережил Семен Борисович Кушнир. Против воли Грачевых довелось ему пережить и высокую радость, когда он увидел, как ищут правду и находят ее. И не в возмещение за перенесенное он ждет от вас, товарищи судьи, обвинительного приговора Грачевым. Он ждет от вас, и не он один этого ждет, чтобы вы сказали именем Республики, что нет ничего более чуждого нашему народу, чем донос, более презренного, чем доносчик, и что для доносчиков есть один путь — в тюрьму!

# ДЕЛО ЛАНСКОГО

## ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

В 1944 и 1945 гг. перед земельным отделом Исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся стояли очень сложные задачи. Решая их, земельный отдел сталкивался с трудностями, общими для всей страны. Война принесла огромные разрушения, и важнейшим общегосударственным делом было быстрое и полное восстановление народного хозяйства. Одним из главных условий решения этой сложнейшей задачи была централизация средств, расходование их в строгом соответствии с утвержденным планом. Поэтому соблюдение финансовой дисциплины приобретало особо важное значение. Но вместе с тем план, составленный заранее, не мог предусмотреть ряда неотложных нужд, возникших в ходе восстановления народного хозяйства. Удовлетворить эти нужды — значило нарушить финансовую дисциплину. Оставить их без удовлетворения — значило замедлить восстановление хозяйства или даже нанести ему ущерб.

В этих трудных условиях руководителям учреждений и предприятий не всегда удавалось найти правильное решение. Немалые трудности стояли и перед судебно-прокурорскими органами. Они не могли допускать нарушений финансовой дисциплины, но в то же время отчетливо сознавали, что отступление от финансовой дисциплины обуславливалось в первую очередь государственными интересами. Вот почему вопрос о возбуждении уголовного преследования за нарушение финансовой дисциплины в каждом отдельном случае решался в зависимости от конкретных условий деятельности того или иного руководителя.

Против главного бухгалтера земельного отдела Лен-

облисполкома И. В. Ланского было возбуждено уголовное дело, и он был предан суду. Ланской обвинялся в том, что на протяжении второй половины 1944 г. и первого квартала 1945 г. он допустил значительный перерасход бюджетных средств. Действия Ланского квалифицировались как злоупотребление своим служебным положением.

Ланской обвинялся и в том, что, вступив в сговор с Валиковым и Беляевым, которые были ему подчинены по службе, он незаконными бухгалтерскими операциями скрыл крупные растраты, совершенные Беляевым и Валиковым.

Дело слушалось в Ленинградском областном суде. Ланской был оправдан по предъявленному обвинению. Однако он был признан виновным в халатности, но, в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. об амнистии, освобожден от наказания, и дело производством было прекращено.

### *Товарищи судьи!*

В своей речи товарищ прокурор энергично возражал против доводов, которые никем еще не были высказаны, и возражал против выводов, к которым еще никто не пришел.

Каждый из основных своих тезисов товарищ прокурор начинал словами: «Вам, граждане судьи, защитник скажет...» И тут же он излагал те соображения, которые, по его уверениям, я обязательно и всенепременно вам представлю. Излагались эти мои соображения ясно и четко, так ясно и так четко, что становилось совершенно очевидным, насколько они ошибочны и легковесны и как много они проигрывают по сравнению с доводами обвинения.

Но ведь давно известно, что если, играя в шахматы, будешь играть и за себя и за противника, то угадать исход партии не так уж сложно.

Меня мог бы и не беспокоить своеобразный ораторский прием, к которому прибег товарищ прокурор. Мне бы следовало спокойно изложить вам свои доводы, вы сопоставили бы их с тем, что здесь говорилось за меня, и тогда могли бы судить о том, насколько полезно и

безопасно заниматься предсказаниями в суде. Но товарищ прокурор не ограничился опровержением моих, так сказать, предбудущих доводов. Товарищ прокурор сумел, оказывается, предугадать общую направленность, основную стержневую мысль еще произнесенной речи и на этой мысли сосредоточил всю мощь своего полемического огня.

Товарищ прокурор сказал: «Защитник вам будет говорить, что Ланской действовал из государственных интересов. Вам будут говорить, что Ланской стоял перед выбором: или соблюсти закон и тогда будет нанесен ущерб государственным интересам, или нарушить закон и тем самым охранить государственные интересы. Ланской сделал свой выбор. Он предпочел сохранить интересы государства. Так вам будет говорить защитник.

Вдумайтесь, — призывал товарищ прокурор, — в эту альтернативу, она противопоставляет закон государственным интересам. Но ведь это новая погудка на старый лад — целесообразность или законность. Этот спор решен, решен давно и окончательно».

Нужно прямо сказать, что кое-что здесь предугадано верно. Да, я действительно буду утверждать, что Ланской действовал из государственных интересов и действовать иначе, чем он действовал, он не мог. Ланской просто обязан был так поступать. Но это единственный довод защиты, который товарищ прокурор правильно предугадал. Все остальное в его речи — борьба с выдуманым противником. Ланской не стоял перед выбором: закон или государственные интересы? Никто и ничто не ставило его перед таким выбором. Закон и целесообразность — их Ланской никогда не противопоставлял друг другу. Конечно, и защита их не противопоставляет.

Дело Ланского имеет большое общественное значение, и именно поэтому особенно важно избежать запальчивости и излишнего полемического пыла.

Ланскому нужно было решить трудную задачу: как применять отдельные параграфы существующей издавна инструкции в резко изменившихся исторических условиях? Ланской понимал, что инструкция — подзаконный акт и ее обязательно нужно выполнять. Но Ланской не мог не понимать, что инструкция была издана много лет тому назад для других условий и другой обстановки и что отдельные параграфы инструкции сейчас нужно при-



менять не механически, а творчески. Применение отдельных параграфов инструкции могло стать тормозом в развитии хозяйства области, но оно могло послужить и действенным толчком к его развитию. Все зависело от того, как применять инструкцию.

Да, действительно Ланскому предстояло выбрать одно из двух: или механически, формально, не задумываясь о последствиях, соблюдать отдельные параграфы инструкции, или действовать в соответствии с духом и смыслом инструкции, применять ее так, чтобы она не повредила общему делу, а, наоборот, принесла наибольшую пользу.

Только такой выбор и стоял перед Ланским. Это отнюдь не равнозначно тому, о чем здесь так патетически говорил товарищ прокурор, это не равнозначно выбору между законностью и целесообразностью.

Не будем прибегать к гипнозу высоких и громких слов. Громкие слова, как известно, — хрупкая вещь, и обращаться с ними нужно осторожно. Поэтому спокойно, точно определим границы спора между обвинением и защитой.

Ланскому предъявлены два обвинения. Первое заключается в том, что, злоупотребляя служебным положением, Ланской допустил перерасход бюджетных средств на большую сумму. В основу этого обвинения положен неоспоримый факт: бюджетные средства действительно перерасходованы, и в том размере, который вменяется Ланскому.

Следовательно, спор между обвинением и защитой пойдет не о фактах, а об их правовой природе: о том, образуют ли они состав преступления и виновен ли в нем Ланской?

Ланскому предъявлено и второе обвинение: содействие Беляеву и Валикову в их преступлении — растрате. Здесь наш спор с обвинением пойдет уже о фактах, о том, знал ли Ланской о преступлениях Беляева и Валикова и оказывал ли им содействие.

Товарищ прокурор считает оба эти обвинения доказанными. Естественно было бы ожидать, что в своей речи он даст ответ на неизбежно возникающий вопрос: что же толкнуло Ланского на совершение столь тяжких преступлений?

Ланской давно работает на ответственных должно-

стях. Он — коммунист с большим партийным стажем, заслужил добрую, устойчивую репутацию. Это человек, которому никак нельзя отказать в четком понимании общественной и правовой значимости своих поступков. Ланской, наконец, превосходно знает, какие тяжелые последствия влечет за собой преступление. Так что же могло побудить Ланского пойти на преступление?

В обвинительном заключении нет ни слова о мотивах преступления. И это не случайно! Предварительное следствие не могло обнаружить их.

Корысть? Но установлено, что Ланской ничего для себя не извлек и не собирался извлекать из преступления Беляева и Валикова. И уж, конечно, он ничего не извлек в свою пользу из перерасхода бюджетных средств. Корысть не могла быть мотивом преступления. Эта причина отпадает.

Но ведь могли быть и другие мотивы преступления! Следствие проверяло также предположение — не связывает ли Ланского дружба с растратчиками? Проверяло тщательно и усиленно. И выяснилось, что между ними не было не только дружбы, не было даже простых товарищеских отношений. Ланской относился настороженно, чтобы не сказать — неприязненно, к Беляеву и Валикову.

Может быть, Ланской и те, кто обвиняется в растрате, были чем-то связаны в прошлом и это прошлое давало им власть над Ланским? И это предположение было исследовано. Установлено, что у Беляева и Валикова не было общего прошлого с Ланским. До работы в земельном отделе они не знали друг друга.

Итак, предварительное следствие не сумело обнаружить мотивов преступления. Пожилой, опытный, знающий подлинную цену своим делам, Ланской пошел на преступление без всяких на то побуждений. В это трудно поверить! Это кажется столь маловероятным, что нам нужно было ожидать, что товарищ прокурор в своей речи обязательно восполнит этот пробел следствия. Но в пространной речи обвинителя не было ни слова о мотиве преступления. Если мотив существовал, то умолчать о нем товарищ прокурор не мог бы. А если он умолчал, то только потому, что такого мотива не существует.

Но, может быть, доказательства виновности Ланского, которыми располагает обвинение, настолько убедительны,

тельны, настолько неопровержимы, что следует признать: да, неизвестно, зачем совершил Ланской преступление, но то, что он его совершил, — это несомненно.

Отсутствие мотива преступления должно было побудить к особой требовательности к доказательствам виновности Ланского.

Ланской обвиняется в том, что он допустил перерасход бюджетных средств на очень большую сумму — 150 тысяч рублей. Это обвинение выдвигается первым. В том, что оно выдвигается первым, есть известный психологический смысл. Хотя это и не было четко выражено государственным обвинителем, но смысл, очевидно, заключается в следующем: если Ланскому не жаль государственных денег, если он их щедро расходует, причем расходует сверх того, что положено по закону, то, значит, такой человек может легко закрыть глаза на то, что и другие растрачивают государственные деньги, а возможно, и сам может помочь растратчикам.

Проверим это обвинение.

Ланского обвиняют в том, что он перерасходовал бюджетные средства. Какое необходимо предварительное условие для того, чтобы это обвинение было вообще возможным? Я не говорю — обоснованным, говорю — только возможным. Для этого нужно, чтобы Ланской был распорядителем кредитов, чтобы он имел право распоряжаться кредитами. Только в этом случае он мог бы расходовать больше или меньше того, что положено. Ланской, как известно, работал главным бухгалтером и, следовательно, не был распорядителем кредитов, следовательно, он не мог перерасходовать бюджетные средства. Перерасходовать бюджетные средства, произвести расходы выше положенного мог только руководитель учреждения, а Ланской мог либо воспрепятствовать этому, либо закрыть на это глаза. Если бы следователь юридически верно сформулировал обвинение Ланского (допустим на одну минуту, что оно обосновано, от предположения ничего не изменится!), если бы следователь верно сформулировал обвинение против Ланского, то оно должно было выглядеть так: «Руководитель учреждения перерасходовал бюджетные средства, а главный бухгалтер обязан был принять меры к тому, чтобы воспрепятствовать перерасходу, но мер не принял, проявив при этом преступную халатность». Значит, достаточно

было четко сформулировать обвинение Ланского, чтобы дело производством было прекращено (даже при признании его правильным), ибо преступление совершено до 7 июля 1945 года и, в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии, подлежало прекращению.

Но если обратиться к самому существу обвинения (независимо от вопроса о юридической квалификации действий Ланского), то здесь есть нечто такое, что иначе, как несправедливостью, назвать нельзя. В официальном документе следователь утверждает, что распорядитель кредитов, начальник Ланского, действительно произвел перерасход всех тех денег, которые вменяются в вину Ланскому. И следователь пишет, что так как этот перерасход был произведен при отсутствии корыстной заинтересованности руководителя учреждения, то он, следователь, полагает не нужным (и это совершенно справедливо) возбуждать уголовное преследование руководителя. Итак, тот, кто произвел перерасход, тот не подлежит уголовному преследованию, а тот, кто не воспрепятствовал этому перерасходу, вовремя не остановил руководителя, тот подлежит уголовной ответственности. И какой ответственности! Государственный обвинитель потребовал не ниже восьми лет лишения свободы!

Итак, здесь перед вами стоят двое: тот, кто произвел расходы, — свидетель, а тот, кто был только свидетелем того, как расходы производились, и оставался свидетелем и не кем иным, — подсудимый.

Но гораздо более горькая несправедливость заключается в самом факте предъявления обвинения в перерасходовании средств, тогда как хорошо известно, *на что* израсходованы суммы, потраченные сверх бюджета.

Вы знаете, товарищи судьи, что речь идет о бюджете 1944 года, о бюджете Ленинградского земельного отдела. Этот бюджет был составлен к 1 января 1944 года, когда часть Ленинградской области была еще захвачена врагом.

Победоносное движение Советской Армии вымело врагов из Ленинградской области. Масштабы работы земельного отдела резко увеличились. Отделу пришлось выделять деньги, которые раньше в смете не были пре-

дусмотрены. Но кто посмеет сказать, что эти расходы являются неоправданными?

В самом деле, из всего «перерасхода» в 150 тысяч рублей больше половины его вызвано увеличением объема полевых работ. На освобожденной от врага земле героически трудились наши советские люди. Но расходы на это не были ранее запланированы. И от Ланского требуют, чтобы он помешал оплате за работу по сбору урожая 1944 года, чтобы он всем нашим людям, которые так замечательно трудились, ответил: «Я ценю ваш безмерный труд, но я, бухгалтер, бумажная душа, все сделаю, чтобы вы за него ничего не получили, потому что нет соответствующей сметы. Подождите годик, смета будет утверждена в 1945 году, и тогда все, что вам причитается, вы получите».

Но Ланской так не ответил, он не препятствовал оплате за труд, и это ставится Ланскому в вину как перерасход бюджетных средств.

Когда освободили Советскую Карелию, возникла необходимость немедленно вывезти оттуда для ремонта сельскохозяйственные машины. Сметы на ремонт этих сельскохозяйственных машин не было, а время не ждало, приближались весенне-полевые работы. И следовательно, а за ним и государственный обвинитель как бы говорят бухгалтеру: «За то, что вы согласились отпустить средства на ремонт, за то, что вы дали деньги, которые окупилась сторицей и обеспечили получение урожая, вы должны нести суровую уголовную ответственность, ибо суммы на ремонт не значились в утвержденном бюджете».

Есть еще одна статья перерасхода: суммы на оплату почтово-телеграфной связи. После освобождения Ленинградской области перед работниками земельного отдела стояли сотни вопросов, нуждавшихся в немедленном разрешении. Область возвращалась к полнокровной жизни. Ревизор Наркомфина, специально направленный для строгой, неукоснительной, не знающей уступок проверки, обревизовал содержание всех телеграмм и пришел к заключению: «Телеграммы вызывались деловой необходимостью». А теперь следствие и государственный обвинитель вменяют в вину бухгалтеру оплату телеграмм! «Нужно было уложиться в смету», — говорят они.

Я представляю себе, как бы выглядел бухгалтер, выполнивший подобные указания. Предположим, приходит телеграмма из района: «Скот не обеспечен кормами, грозит падеж большого количества поголовья. Немедленно укажите, куда перевести поголовье скота». Нужно дать ответную телеграмму, а бухгалтер заявляет: «Нет, не смейте расходовать 4 рубля 50 копеек на телеграмму, поскольку это не предусмотрено сметой. А что будет с поголовьем — меня не интересует, ибо его судьба как графа в бюджете не значит!»

Я уже не говорю о том, что возражения бухгалтера ничего не изменили бы, телеграмма была бы послана без его согласия; ведь он не подписывает ни одной телеграммы. Но теперь от него здесь требуют под страхом уголовной ответственности, чтобы он задним числом воспрепятствовал посылке подобных телеграмм. Каким чудовищным, махровым бюрократором выглядел бы бухгалтер, который в период бурного роста области, набирающей силы, залечивающей раны, сказал бы: мне дела нет до судьбы области, лишь бы бюджетные графы были целы!

Перед вами выступал свидетель — заместитель начальника Ленинградского земельного отдела, человек, привыкший мыслить по-государственному. Он вам сказал: «И сегодня такой перерасход является необходимым, и если бы его не допустить, то сельскому хозяйству области был бы нанесен серьезный урон».

И только для того, чтобы завершить мысль о несостоятельности обвинения в перерасходе бюджетных средств, позвольте напомнить вам, что облфинотдел в официальном отношении в ответ на сделанный судом запрос сообщил, что бюджетные ассигнования выдавались земотделу авансом. Они выдавались так только потому, что финансовые нужды земотдела постоянно увеличивались в связи с все возрастающим объемом работ. Никаких вообще твердых ассигнований не было. Деньги тогда выдавались авансом. А вот сейчас от бухгалтера требуют, чтобы он помешал руководителю, — вот оно, настоящее слово! — чтобы он помешал руководителю производить необходимые расходы.

Обвинение в перерасходе бюджетных средств неверно по существу, ошибочно по форме и несправедливо. Оно должно быть отвергнуто. И тогда разру-

шается весь психологический орнамент обвинения: Ланской, дескать, не жалел общественных денег, вот он и потакал растратчикам.

Так же слабо, как и первое обвинение, обосновано и обвинение Ланского в соучастии в преступлении, совершенном Беляевым и Валиковым.

Обвинение в соучастии в корыстном преступлении — достаточно тяжкое. Естественно было предполагать, что следствие подтверждает его вескими и серьезными доказательствами. Доказательства по делу собирались на предварительном следствии старательно и активно. Это верно, и этого не следует отрицать. Но то толкование, которое здесь давалось собранным доказательствам, не может не вызвать удивления.

Достаточно обратиться к двум документам, находящимся в деле, чтобы стало совершенно ясным, — как бы помягче выбрать слово, скажем так: чтобы стал совершенно ясным тот субъективизм, который был проявлен следствием при оценке доказательств. Документы, о которых сейчас идет речь, исходят от следователя. Они написаны, по существу, при окончании предварительного следствия, они говорят об одном и том же предмете, и каждый из них противоречит друг другу.

На листе дела 285 находится постановление следователя, касающееся одного из привлеченных по делу. В этом постановлении следователь пишет: «Ланской своевременно сигнализировал руководству о том, что Валиков и Беляев совершают преступление». Следователь не только удостоверяет факт, он дает оценку своевременной сигнализации Ланского: «По сведениям, сообщенным Ланским, преступления Валикова и Беляева были раскрыты и их преступные махинации разоблачены». Итак, следователь утверждает, что Ланской (который теперь обвиняется в том, что помогал Валикову и Беляеву совершать преступления), что сам Ланской разоблачил их, сообщил об их преступлениях и представил те материалы, которые сделали возможным и доказательным изобличение Валикова и Беляева. А на другой день, когда никакими новыми материалами дело не обогатилось, тот же следователь пишет в обвинительном заключении: «Ланской не разоблачал преступников, а ограничился тем... (и тут следует стилистический шедевр следователя), что в довольно смутных выраже-

ниях сообщил начальнику об остатке кассы». Прочитав оба документа, испытываешь естественное недоумение: какой же из них верен? Тот, который официально удостоверяет, что Ланской разоблачил преступников, или тот, который ставит в вину Ланскому сокрытие преступления при помощи «смутных выражений». Государственный обвинитель не ответил на вопрос, какой же из двух документов должен быть признан правильным. А ответ на этот вопрос нетрудно дать. В материалах предварительного следствия имеется докладная записка Ланского, та самая, которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела. В этой докладной записке Ланской пишет — я цитирую лист дела 92: «В кассе обнаружен явно поддельный документ». Чтобы у читателя этой докладной записки не оставалось сомнений в характере сообщения, слово «явно» написано шрифтом более крупным, чем все остальные слова, и сразу бросается в глаза. Итак, Ланской пишет: «В кассе имеется явно поддельный документ», а следовательно, прочитав эту предельно четкую и ясную фразу, утверждает: «Ланской смутно выражается». В упомянутой докладной записке Ланской указывает: «Валиковым и Беляевым присвоены все суммы, указанные в поддельных ведомостях. Требуется немедленно, — настаивает неугомонный Ланской, — документальная ревизия, которая, может быть, вскроет и другие преступления». Ланской буквально кричит о совершенном преступлении, а следователь слышит лишь... «смутные выражения».

Поскольку по делу с бесспорностью установлено, что Ланской еще в апреле, первым, по собственной инициативе, когда еще никто не догадывался о совершаемом преступлении, во весь голос заявил: «Валиков и Беляев — растратчики, они совершают подлоги, и поэтому нужно проверить их деятельность, ибо тогда, возможно, раскроются и другие их преступления», то становится совершенно очевидным, что Ланской не только не содействовал растратчикам в их преступной деятельности, но был инициатором их разоблачения.

Как же случилось, что при этих условиях на следствии Ланскому было вменено обвинение в содействии растратчикам? В поисках ответа я отнюдь не собираюсь утверждать, что на следствии была проявлена явная обвинительная тенденция. Нет, ее не было. Дело в том,



что следствие проявило излишнюю некритическую доверчивость к выводам ревизии. Ревизию проводил гражданин Неймарков. По мнению следователя, это сведущий и объективный человек. Ревизор, рассуждал следователь, не станет уклоняться от истины. Его выводы точны. Ревизор более, чем следователь, осведомлен в вопросах бухгалтерии, и если он находит, что Ланской допускал незаконные проводки в бухгалтерии, то следователю нужно отнестись с доверием к этому выводу ревизора и не сопоставлять его с объяснениями подсудимого, явно заинтересованного в исходе дела.

Вот от этого предположения об объективности выводов ревизии, от предположения, которое освобождало следователя от обязанности, от которой никто не мог его освободить, от обязанности проверять достоверность любого доказательства, а следовательно и тех, что исходят от ревизора, и произошла ошибка следствия. Излишняя доверчивость к ревизору и стала источником ошибки.

Ревизор, гражданин Неймарков, показал, что при помощи неправильной бухгалтерской проводки Ланской помог Беляеву скрыть растрату почти в 15 тысяч рублей. Ланской утверждал, что никакой незаконной проводки не было. В суд был вызван эксперт-бухгалтер. Ему был задан вопрос: совершил ли Ланской неправильные, с точки зрения бухгалтерии, проводки, и если совершил, то способствовали ли такие проводки сокрытию растрат? Ответ эксперта не оставляет желать ничего лучшего в смысле ясности. Вот он, этот ответ: «Проводки, сделанные Ланским, полностью отвечают бухгалтерским правилам и нисколько не скрывают растрат, совершенных Беляевым».

Товарищ прокурор в речи все же склоняется к тому, что выводы ревизора более обоснованны, чем заключенные эксперта.

Чтобы судить о степени обоснованности выводов ревизора, позвольте обратить ваше внимание на самую ревизию, проведенную гражданином Неймарковым.

В июне 1945 года Неймарков производит ревизию и приходит к заключению, что у Беляева в кассе не хватает 14 615 рублей. Неймарков пишет, что этот вывод сделан в результате анализа бухгалтерских документов.

Все как будто бы ясно.

Беляев возражает против заключения ревизии. Неймаркову поручают произвести повторную ревизию. Он исследует те же самые обстоятельства и те же самые документы и приходит к прямо противоположному выводу: «Преыдущая моя ревизия была неверной, — пишет Неймарков, — так как мною не были учтены такие-то расходные документы (следует перечисление документов), поэтому вношу исправления и устанавливаю, что никакой недостачи за Беляевым не числится».

Но если бы Неймарков на этом остановился!

Гражданина Неймаркова вновь назначают ревизором того же земельного отдела. Тогда Ланской пишет официальную докладную записку, в которой возражает против назначения Неймаркова ревизором, считая, что человек, который на основании одних и тех же документов делает два противоположных, взаимно исключающих вывода, — не самый надежный и не самый нужный из всех ревизоров.

Неймарков узнает о докладной записке Ланского. Вопреки возражениям Ланского, Неймарков все же проводит ревизию и вновь возвращается к проверке финансовой деятельности Беляева. На этот раз на свет появляется третий документ, в котором Неймарков с прежней убедительностью и категоричностью пишет: «Второй акт ревизии от июня месяца, составленный мною, является ошибочным. Имеются основания считать, что растрата была, но что ее скрыли при помощи позже представленных документов».

И вот этот акт ревизора, мечущегося от вывода к выводу, этого своеобразного Гамлета от бухгалтерии, вот этот акт Неймаркова и воспринят обвинением как бесспорный и доказанный.

Не в добрый час Ланской затронул честь ревизора Неймаркова!

Выводы ревизии Неймаркова были проверены экспертом. Эксперт четко и достаточно резко заявил: «Выводы ревизора Неймаркова совершенно необоснованны». Здесь, на суде, государственный обвинитель переспросил эксперта: настаивает ли он на своем определении? И эксперт ответил: «Да, настаиваю. Выводы ревизора Неймаркова являются совершенно необоснованными».

Ланского обвиняют в причастности к растрате, совершенной Беляевым. Я надеюсь, что это обвинение не

перейдет со страниц обвинительного заключения в приговор.

У Беляева действительно была недостача, но ее бóльшая часть относится к 1944 году, когда Беляев работал кассиром по республиканскому бюджету. А ведь Ланской до февраля 1945 года не имел никакого отношения к этому бюджету. Не думаю, что здесь нужно доказывать бесспорный факт: если растрата произведена в 1944 году, а Ланской приступил к работе по республиканскому бюджету только в начале 1945 года, то он никакого отношения к этой растрате не имеет.

Сложнее и труднее обстоит вопрос с обвинением, выдвинутым против Ланского в соучастии и сокрытии им преступлений Валикова. Ланской не соучаствовал в преступлениях Валикова. Это установлено с предельной ясностью. Но некоторые действия Ланского могли помешать своевременному раскрытию преступлений Валикова. Это верно! В земельном отделе Ленинградской области Валиков работал бухгалтером. Когда Новгородская область выделилась в самостоятельную, Валикова назначили туда в земельный отдел на должность главного бухгалтера. Ему нужно было сдать дела в Ленинградском земельном отделе. Ланской потребовал назначения официальной комиссии, которая бы приняла дела от Валикова. Настаивая на создании официальной комиссии, Ланской объяснил руководству земельного отдела, что некоторые документы Валикова кажутся ему подозрительными и он хотел бы, чтобы была произведена тщательная проверка. Руководство назначило официальную комиссию. В эту комиссию вошел и Ланской. При проверке выяснилось, что некоторые документы у Валикова были оформлены ненадлежащим образом. Валиков утверждал, что расходы по этим документам в действительности произведены, но документы оформлены без соответствующих реквизитов. На это Ланской заявил: «Документы, ненадлежащим образом оформленные, не будут приняты, и Валиков должен или отчитаться деньгами, или представить надлежащие документы, надлежаще составленные».

Пока все шло правильно. Но Валикову нужно было уезжать, а отчет затягивался. И тогда Валиков предлагает следующее: не принимать от него этих документов, а переслать их в Новгород. «Я там отчитаюсь, — сказал

Валиков, — и документы будут зачтены в счет тех сумм, которые предстоит перечислить в Новгородский земотдел».

Конечно, Ланскому не следовало бы соглашаться на такое предложение, но он уже слишком долго проводил проверку деятельности Валикова, несколько раз требовал необходимого оформления документов. Проверка затянулась, и Ланской, скажем прямо, решил по-обывательски: «сплавим» земельному отделу эти сомнительные и спорные документы. Отныне они будут находиться в Новгородском земотделе, вот пусть там все и проверят, пусть ответственность за них перед Новгородом и несет Валиков. Тем более что Новгород соглашается принять эти документы и произвести проверку.

Вот здесь Ланской и совершил ошибку. Ему нужно было не передавать спорные документы в Новгородский земотдел, а самому их проверить. Согласившись с предложением Новгородского земотдела и Валикова, Ланской не до конца и ненадлежащим образом выполнил свои обязанности, не проверил того, что должен был проверить. В этом есть признаки статьи 111 УК, но так как все произошло до июля 1945 года, то естественно, что на Ланского должен быть распространен Указ об амнистии.

Я подхожу к концу. Все время я говорил о деле и ни слова не сказал о самом Ланском. Да нужно ли это? Я уверен, что сегодняшний утренний эпизод, который произошел почти перед самым заключением следствия, не мог не сохраниться у вас в памяти.

Товарищи судьи! Три дня Ланской — резкий, властный и твердый по натуре человек — давал объяснения. Он давал их, владея собой. И только сегодня утром, когда заместитель начальника земельного отдела нашел для него сердечные и теплые, человеческие слова, вы увидели Ланского другим. Заместитель начальника земельного отдела рассказывал о том, как Ланской не щадил себя на работе в самые тяжелые дни блокады, как глубоко предан он своему делу, поистине одержим им. И вот тогда самообладание изменило Ланскому, и он сказал, не сумев подавить на секунду прорвавшегося рыдания: «Не надо об этом говорить». Замолчал свидетель. Суд не прервал, не остановил Ланского. Молчал и Ланской, и несколько секунд в судебном зале было тихо.

Здесь, на скамье подсудимых, Ланской не хотел вспоминать свое прошлое, своих заслуг. Но мы не вправе забыть это. Прошлое Ланского — это не только воспоминания. Прошлое Ланского — рядом с нами, это — дела Ланского в земельном отделе Ленинграда.

Я говорю о прошлом Ланского не для того, чтобы взывать к милосердию, не для того, чтобы просить у вас снисхождения. Ланскому оно не нужно. Прошлое Ланского таково, что судить Ланского — значит оправдать его. Об этом я и прошу суд.

# ДЕЛО ДАНИЛОВОЙ

## СОУЧАСТИЕ В КРИМИНАЛЬНОМ АБОРТЕ

В одну из больниц Ленинграда в тяжелом состоянии была доставлена 19-летняя Нина Данилова.

Врачебный осмотр установил, что ей был сделан криминальный аборт. Нанесенные при этом повреждения были настолько тяжкими и опасными, что, несмотря на все принятые меры, спасти Нину не удалось и через несколько часов после поступления в больницу она скончалась.

Перед смертью Нина Данилова отказалась назвать лиц, сделавших аборт.

В результате проведенного следствия мать Нины, Мария Петровна Данилова, была предана суду по обвинению в соучастии в криминальном аборте. Как утверждалось в обвинительном заключении, М. П. Данилова, сломив сопротивление дочери, настояла на совершении аборта. Она привезла свою дочь из Москвы (где обе проживали постоянно) в Ленинград и сговорила со знакомыми ей врачами об аборте. Аборт был сделан на квартире, где временно жили Даниловы, операция была проведена неумело и жестоко.

В обвинительном заключении указывалось также, что хотя М. П. Даниловой была ясна виновность лиц, совершивших аборт, она не только не изобличила виновников смерти своей дочери, но всячески их выгораживала, отрицая их причастность к аборту и утверждая, что Нина сделала аборт без ее ведома и согласия и что она, Данилова, не знает, кто сделал аборт.

Дело Даниловой слушалось в народном суде Ленинграда.

Она была оправдана.

## *Товарищи судьбы!*

Все те, кто давал показания о Марии Петровне Даниловой, были единодушны, утверждая, что она добрый и мягкий человек, хорошая жена и хорошая мать.

И вот после многих, достойно прожитых лет, дойдя до старости, Мария Петровна Данилова обвиняется в том, что она совершила чудовищное преступление, на которое мог решиться только тот, у кого нет сердца.

Совершив преступление, Мария Петровна Данилова, виновная в смерти своей дочери, повела себя, если верить обвинительному заключению, как самый закоренелый, самый отпетый преступник: не зная ни раскаяния, ни сожаления, она стала хладнокровно и обдуманно прятать концы в воду.

Чем больше думаешь о предъявленном Даниловой обвинении, тем становится яснее: или всё, что мы знаем о Марии Петровне, — ложь, никакой она не добрый и не мягкий человек, и никакая она не хорошая мать. Всё это — обман и притворство, десятки лет она, не снимая, носила на себе личину, или же, если Мария Петровна в самом деле такая, как здесь о ней говорили, то она не могла, просто не могла совершить того, в чем ее обвиняют.

Если отбросить словесную оболочку и обнажить суть вещей, то в маловыразительной формуле «способствовала производству аборта» вскрыется поистине страшный смысл.

Мать узнаёт, что ее дочь Нина беременна, а отец будущего ребенка отнюдь не собирается, как в старину говорили, «прикрыть грех», не собирается жениться. Тогда мать настаивает на том, чтобы дочь сделала аборт, настаивает, зная, что аборт на этой стадии беременности опасен и может кончиться смертью. Но это мать не останавливает.

Она везет дочь в Ленинград. Здесь их мало знают, и если наступит тяжелый исход, то виновников будет установить труднее.

Подумать только, мать допускает, что аборт может кончиться смертью, и заботится только об одном: как бы избавиться от ответственности.

Приехав в Ленинград, мать находит бессовестных людей, согласившихся сделать операцию, которую де-

лать нельзя. На глазах у матери операцию совершают самым диким и варварским способом. Происходит не только прободение матки, но и разрыв и расслоение сигмовидной кишки. У дочери начинается кровотечение, оно все усиливается, опасность тяжелого исхода на-двигается все ближе, и тогда преступники, сделавшие операцию... уходят. Уходят, не оказывая помощи чело-веку, истекающему кровью, а мать видит это и не только соглашается, чтобы они ушли, но и торопит их, боясь, как бы их не застигли на месте преступ-ления.

Но вот они ушли. Теперь-то уж мать наверняка ста-нет звать на помощь. Теперь-то она позовет врачей? Нет, мать начинает тщательно убирать комнату, пытаясь скрыть следы преступления. И только убедившись в том, что в комнате не осталось никаких улик, мать вызывает скорую помощь. Ожидая ее, Данилова придумывает версию, которая установила бы ее непричастность к пре-ступлению, и убеждает дочь, чтобы та лгала перед смертью!

Нина умирает. Мать возвращается домой. Дома все напоминает о дочери, но это никак не действует на мать. Она хладнокровно и обдуманно начинает созда-вать ложные доказательства своей невинности.

Можно ли себе представить что-либо более чудовиш-ное, чем такое поведение матери?

Что ж могло побудить мать пойти на непосильное для человеческой совести злодейство?

Следствие занималось изучением многих вопросов, имеющих, конечно, некоторое значение. Исследовались такие вопросы: были ли деньги у Нины Даниловой, чтобы она могла заплатить врачам за аборт; могла ли Нина дойти до квартиры, если аборт был сделан в другом месте; видели ли дворники, чтобы Нину кто-либо приводил?

Все эти вопросы, конечно, имеют свое значение, од-нако в решении основного вопроса, вопроса о том, что могло побудить мать пойти на такое преступление, следствие ограничилось предположением. Была выска-зана мысль, что Мария Петровна Данилова так боялась позора, который пал бы на семью в случае появления «незаконнорожденного» ребенка, что она из страха и совершила то преступление, в котором обвиняется.



Так ответило следствие на вопрос о мотивах преступления. Но дать ответ — еще не значит найти его.

Да, есть люди, которые считают рождение ребенка вне брака чем-то постыдным для матери-одиночки. Возможно, что и Мария Петровна Данилова считала, что внебрачный ребенок чем-то ущемит честь дочери. Возможно! Но ведь это не может толкнуть на столь чудовищное преступление.

Сделать то, в чем обвиняют Данилову, может только человек, находящийся во власти самых дремучих, самых замшелых предрассудков, человек, для которого страх перед пересудами кумушек сильнее страха перед смертью дочери.

Такова ли Мария Петровна Данилова?

Еще год назад семья Даниловых была счастливой семьей. Она состояла из отца, матери и двух дочерей. Отец, Сергей Григорьевич Данилов, — генерал, на своем высоком и трудном посту он делал полезное и нужное дело. Он находил радость и в семье. Обе дочери, Лена 20 лет и 19-летняя Нина, были девушками с хорошими задатками, чистыми устремлениями, они учились в Московском университете охотно и увлеченно.

Мария Петровна вела дом и создавала ту атмосферу легкости, теплоты, взаимной заботы и чуть скрываемой нежности, которая так характерна для счастливых семей. Все в семье были искренни и откровенны друг с другом, откровенны без навязчивости, как бывает у людей, которых связывает глубокая привязанность.

В августе прошлого года, уезжая в отпуск, мать и отец Даниловы были спокойны. Им нечего было тревожиться за своих дочерей.

Когда они вернулись, Мария Петровна первая заметила, что Нина в чем-то изменилась. Сдержанная, спокойная, она стала какой-то неровной, возбужденной, то излишне веселой, то неожиданно грустной. Мать поняла: с дочерью что-то стряслось. Но что?

Мария Петровна ждала, что дочь сама ей обо всем расскажет, но Нина молчала. Тогда мать пришла ей на помощь и вызвала ее на откровенность. Нина рассказала, что уже несколько месяцев она дружит с Виктором Мокроусовым. Он хороший, чистый, нет, не так она говорит — он очень и очень хороший! Они полюбили друг друга и хотят пожениться. «Но ведь тебе только

19 лет, ты на втором курсе», — попыталась возразить Мария Петровна.

Тогда Нина сказала матери, что она беременна. Мать огорчилась (и это вполне естественно), но только огорчилась, и ничего больше! Она не попрекала дочь, не стенала, что семья и дочь опозорены. Мать огорчилась, но в меру, и сказала Нине: «Я не возражаю, но ты сама скажи об этом отцу. Каждый должен нести ответственность за то, что он делает». Нина считала это справедливым и все рассказала отцу. Отец отнесся к признанию дочери спокойнее: «Если вы любите друг друга и ждете ребенка, то, конечно, вам нужно пожениться».

Обрадованная, счастливая Нина сказала отцу и матери, что ее Витя завтра придет и сам объяснится с родителями. Назавтра пришел молодой курсант пехотного училища Виктор Мокроусов и стал, смущаясь и робея, говорить о том, что любит Нину и хочет на ней жениться.

Чем больше робел и смущался Мокроусов, тем больше он нравился родителям Нины. В этом смущении они видели доказательство мягкости и душевной тонкости будущего зятя.

Сергей Григорьевич Данилов спросил у Виктора, говорил ли тот со своими родителями, что он собирается жениться, и дают ли они свое согласие. Виктор ответил: говорил и родители согласны. Тогда же и решили устроить свадьбу поскорее, не оттягивая ее. Это не значит, что Даниловы боялись пересудов, но если можно избежать их, почему бы и не сделать этого.

Свадьба была назначена на 7 ноября. Решено было отпраздновать ее не без пышности, чтобы этот день навсегда остался в памяти у Нины и у Виктора.

Настал день свадьбы, стали собираться гости. Они всё прибывали, а ни Виктор, ни члены его семьи не появлялись. Это вызвало сначала смущение, а потом тревогу.

В десятом часу вечера Лена — старшая сестра Нины — едет к Мокроусовым. В окнах их квартиры света нет. Никто не отвечает и на ее звонок. Лена возвращается домой.

Мокроусов так и не явился. В одиннадцатом часу гости покидают несостоявшуюся свадьбу.

Семья Даниловых немало пережила в тот день. Тут были и ожидание, и тревога, и стыд, и гнев. Все это было. Но никому не пришло в голову, что нужно освободиться от ребенка, что ребенок будет позором и принесет несчастье в семью. Не говорили об этом ни в тот день, ни позже. А на завтра Сергей Григорьевич Данилов поехал к Мокроусовым. Он застал их дома. Без тени смущения Мокроусов-отец заявил, что он против брака своего сына с Ниной, что сыну его нужно учиться и учиться. В ответ на негодуящее замечание Данилова: «Почему же об этом раньше не было сказано, зачем же нужно обманывать?» — Мокроусов ответил, что не он обманул Данилова, а его сын Виктор. Виктор ничего не говорил им, своим родителям, о свадьбе, и они не давали ему на это согласия.

Данилов вернулся домой и все рассказал жене и дочери.

Вечером Нина написала Виктору. Это письмо имеется в деле, оно было нами всеми прочитано. В этом письме нет ни упрека, ни укора, ни гнева, нет даже жалобы. Нина полна тревоги и боли за него, за своего Витю. Она представляет себе, как он, бедняжка, мучается оттого, что ему не позволили жениться, и она терзается и раскаивается, что против своей воли она чем-то его огорчила, что вместо радости она принесла ему боль.

Написано это письмо просто и безыскусно, а читаешь его, и перехватывает дыхание: на такие недоступные высоты любви и самоотверженности поднялась Нина Данилова.

Эту самоотверженность оценил и Виктор Мокроусов, по-своему оценил. Он понял, что Нина ему все простит, сделает все для того, чтобы никакая неприятность ему не грозила, что Нина развязывает ему руки.

Но Виктор Мокроусов все же побаивался, как бы не пришлось ему отвечать. Виктор поступил подло, это он понимает, — нужно задобрить Нину. И он пишет ей.

Письмо Нины и ответ Виктора в деле лежат рядом, словно для того, чтобы их было легче сравнить. Читаешь его письмо и не понимаешь, как он в свои 20 лет успел стать таким прожженным циником!

Виктор пишет: «Первым долгом успокаиваю тебя. Я жив и здоров». Но, пытаясь внушить Нине мысль, что ему нелегко дался обман, он продолжает: «Я вчера

долго ходил, как дурак». Очевидно, считая, что о своих переживаниях он уже достаточно полно и ясно сказал, Виктор дальше пишет, причем не без игривости: «Ты получишь письмо 9 ноября, еще праздники, поэтому прошу тебя, выпей за своего негодного Витьку».

Но страх делает свое дело. Виктору нужно в какой-то мере обезопасить себя против справедливого гнева родителей Нины, и он пишет, что обязательно женится на ней, пусть только ему дадут срок.

Между Ниной и Виктором начинается переписка. Эти письма находятся в деле. И в каждом письме сначала осторожно, а потом все настойчивее и настойчивее Виктор требует от Нины только одного — избавиться от беременности.

Своего будущего ребенка Виктор ни разу не называет ребенком. Для него он всегда только «это». Так Виктор и пишет: «Избавься от этого». И в каждом письме, когда он настаивает на аборте, как постоянный рефрен, появляется одна и та же фраза: «Пожалуйста, не говори матери». Он понимает, что мать не согласится на аборт, — ведь беременность зашла уже далеко.

Его настойчивые требования, чтобы Нина сделала аборт, настолько очевидны, что следователь выносит специальное постановление о возбуждении дела против Мокроусова по обвинению в подстрекательстве к совершению аборта.

Нина сначала не хочет делать аборта, но постепенно поддается уговорам Виктора Мокроусова, хотя и не знает, как выполнить его требование. Она пишет Мокроусову: «Я не знаю, что мне делать, я одна, мне не с кем посоветоваться».

Если бы мать настаивала на аборте, если бы мать толкала ее на это, то зачем бы Нине было скрывать это от Виктора? Уж кто-кто, а Нина хотела бы избавить Виктора от страха и беспокойства. Она бы написала ему, что мать тоже согласна и что даже настаивает на аборте, и Виктору нечего было бы бояться, что она раскроет их секрет матери.

Но ведь в письме говорится, что Нине не с кем было посоветоваться и она не знала, как ей поступить.

Это ли не лучшее доказательство того, что мать не только не настаивала на аборте, но и не подозревала, что Нина готовится его сделать.

Нам говорили, будто Мария Петровна Данилова побуждала, даже принуждала к аборту, а между тем письма Нины, эти бесспорные доказательства, устанавливают, что мать не только не хотела аборта, но даже и не знала о том, что аборт замышляется Ниной.

Да, мать не настаивала на аборте, но, быть может, она уступила просьбам Нины? Допустим, что дочь захотела сделать аборт и мать, не устояв перед ее просьбой, решила ей помочь. Ведь и в этом случае мать окажется виновной.

Насколько же верно такое предположение?

Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Но прежде всего нужно запомнить одно: следовательно, предъявляя обвинение Даниловой в преступлении, которое находится в кричащем противоречии с жизненной правдой, объяснял его только одним: мать панически боялась позора семьи, ею владело чувство страха, и оно вытеснило все остальные чувства.

А вот сейчас установлено: у матери не было этого страха. Она не возражала, чтобы ребенок родился.

Теперь проверим, насколько верно предположение, что дочери удалось сломить сопротивление матери.

Ничем ведь не доказано, что мать согласилась, чтобы дочь сделала аборт. В своем письме Нина пишет: «Мне не с кем посоветоваться». Следовательно, не только не доказано, что мать побуждала дочь сделать аборт, но даже не установлено, что она знала о решении Нины пойти на операцию.

Материалами дела установлено, что Мария Петровна Данилова поехала вместе с Ниной в Ленинград, где на четвертый день после приезда и был сделан аборт. Но если мать поехала в Ленинград с дочерью, то разве из этого следует, что она вывезла дочь с целью сделать ей аборт? Не слишком ли это поспешный вывод? И чем он подтверждается? Только догадкой следователя. Но даже самая проникновенная, самая тонкая догадка не может заменить доказательств. А доказательства по делу как раз свидетельствуют о том, что приезд в Ленинград объясняется отнюдь не стремлением Марии Петровны Даниловой помочь дочери в совершении аборта.

О приезде Даниловых в Ленинград была допрошена сама Мария Петровна Данилова, ее дочь Лена и хозяй-

ка квартиры в Ленинграде. Все их показания полностью совпадают.

В последнее время Нина очень мучилась в Москве. Она знала, что между нею и Виктором все кончено, и все же не могла примириться с этой мыслью. Нина рассказала своей сестре, она рассказала и матери, что каждый вечер не переставала ждать прихода Виктора, хотя и понимала, что он не придет. Она прислушивалась к шагам на лестнице, вздрагивала при каждом звонке, ждала, зная, что ожидания бессмысленны, и ничего не могла с собой поделать. Эти напрасные ожидания ее вконец измучили, и она стала просить мать: «Уедем на время из Москвы. В Ленинграде я буду твердо знать, что Виктор не придет. Там исчезнут мои бессмысленные ожидания, и мне будет легче». И сестра и мать хорошо поняли Нину. Да, Нине нужно уехать из Москвы, чтобы не мучиться тщетными ожиданиями.

Итак, причина отъезда из Москвы выяснена. Она не находится ни в какой связи с абортom.

Но, уезжая из Москвы, Нина пишет свое последнее письмо Виктору. В этом последнем письме она успокаивает Виктора, пишет ему, что мать ничего не знает о ее намерении, а поэтому пусть он не тревожится. Но Нина полна томительных предчувствий, можно даже сказать точнее — она готова к смерти. Нина пишет Виктору, что умрет.

Было бы кощунством пытаться какими бы то ни было словами характеризовать это письмо. Ничто не может сильнее воздействовать на наш ум и наше сердце, чем само письмо.

Нина пишет, что она уйдет из жизни, но мысль о том, что ее смерть огорчит Виктора, причиняет ей боль. И она полна жалости не к себе, а к нему. Она умоляет и закликает его не винить себя ни в чем, не огорчаться, постараться скорее забыть о ней, она просит у него прощения, что она принесла ему боль.

Вот читаешь это письмо и испытываешь гордость от того, что есть на свете такие девушки, как Нина, и испытываешь гнев и отвращение, что ходят еще по земле такие, как Виктор Мокроусов.

Это письмо бесспорно доказывает непричастность Марии Петровны Даниловой к абортy дочери.

Но ведь аборт все же был сделан. Могла ли его сделать Нина без ведома матери?

Нина раньше жила в Ленинграде. У нее остались там знакомые и подруги. В Ленинграде проживают и родственники Мокроусова. А ведь следствие ничего не сделало для исследования вопроса: не узнала ли Нина от своих подруг или от родственников Мокроусова о тех людях, которые готовы сделать аборт? Следствие этот вопрос даже не ставило перед собой, следствие исходило из уверенности в том, что аборт был сделан в квартире, где проживала Нина. Мария Петровна Данилова отрицала это. Она утверждала, что утром того дня, когда был произведен аборт, Нина ушла из дома, сказав, что идет делать маникюр. Ее не было около трех часов. Мария Петровна начала волноваться, беспокоиться, но успокаивала себя тем, что в воскресный день в парикмахерской обычно большая очередь. Около 12 часов дня раздался звонок. Мария Петровна открыла дверь и увидела двух молодых людей, которые поддерживали Нину. Они объяснили, что Нине стало плохо и они помогли ей подняться домой.

В квартире Нина упала на кровать и созналась, что сделала аборт.

Следствие не поверило объяснениям Даниловой и решило, что аборт сделан на квартире, где проживала Данилова.

Этот вывод следствия имеет некоторое подтверждение в материалах дела. Результаты проведенной экспертизы свидетельствуют о том, что аборт, вероятнее всего, был сделан на квартире, где проживала Данилова, так как после аборта Нина вряд ли могла бы пройти от места операции до своей квартиры. Вместе с тем эксперты заявили, что их утверждение отнюдь не категорично. Они признали, что Нина едва ли могла сама двигаться, но ее могли привести. А ведь, по утверждению Даниловой, Нину привели два человека.

Эксперты заявили, что их заключение остается в силе в том случае, если в качестве наркоза было применено эфирное опьянение. Но эксперты не исключают и возможности применения вначале рауша, а уж затем эфирного опьянения.

В этом случае из эфирного опьянения Нина могла

быть выведена гораздо раньше и, следовательно, могла указать свой адрес и с помощью посторонних дойти до дома.

Наконец, эксперты утверждали, что они согласны с теми данными, которые приводятся профессором Авдеевым в его учебнике «Судебная медицина». На суде были оглашены почерпнутые из учебника Авдеева данные, из которых видно, что даже в случае тяжкого полостного ранения не исключается возможность передвижения.

Отсюда следует вывод: эксперты не исключают того объяснения, которое дала Данилова.

На следствии ссылались на то, что дворники не видели, чтобы кто-либо приводил Нину. Но ведь эти же дворники показали, что они не видели автомашины скорой помощи, они не видели, как люди в белых халатах на носилках выносили Нину. Поэтому ссылка на то, что дворники не видели, как Нину приводили, едва ли может служить серьезным доказательством того, что версия Даниловой неверна.

Мы не вправе забывать показания свидетельниц Рыбниковой и Бельской. Они проживают в той же квартире, где, по мнению следствия, между 10 и 12 часами дня был произведен аборт.

Рыбникова и Бельская показали, что в это время Мария Петровна несколько раз выходила на кухню, готовила яичницу, варила кофе, охотно разговаривала с ними и обсуждала, что можно посмотреть в ленинградских театрах.

Можно ли представить себе такую картину: в соседней комнате творится жестокая расправа над Ниной (иначе эту операцию — аборт — не назовешь!), каждую минуту Нине грозит смерть, а мать выходит на кухню, смеется, варит кофе и расспрашивает о репертуаре театра!

Но если даже забыть о жизненной неправдоподобности того, в чем обвиняют Данилову, то ведь нельзя забыть и другого: ни одного доказательства причастности Даниловой к аборту не установлено. Правда, на следствии было выдвинуто еще одно соображение, якобы устанавливающее виновность Даниловой.

За производство аборта, рассуждает следователь, нужно уплатить определенную сумму. Какую именно —



следователь не знает, но предполагает, что немалую. А денег у Нины нет, значит, деньги дала мать.

Едва ли это предположение следователя можно считать серьезным доказательством виновности Даниловой. Семья Даниловых зажиточная. Нина готовилась к свадьбе. Вполне естественно, что она накопила денег для подарка Виктору.

В древности говорили: «Хорошо быть строгим, лучше быть добрым, а еще лучше быть справедливым». Если бы следователь проявил любую из этих добродетелей, то все равно он пришел бы к одному и тому же выводу. Будь следователь строг, он бы строго отнесся к отбору доказательств и тогда бы не выдвинул обвинения против Даниловой; будь он добр, он бы долго колебался, можно ли к тому горю, что обрушилось на семью Даниловых, прибавлять еще горечь незаслуженного обвинения; будь следователь справедлив, он сказал бы то, что сказал сегодня прокурор, отказываясь от обвинения. Он сказал бы, что не собрал необходимых и достаточных доказательств для обвинения Марии Петровны Даниловой.

Товарищ прокурор отказался от обвинения, но в самой тяжелой для Даниловой форме. Прокурор сказал, что Мария Петровна, по его мнению, знала о предстоящем аборте и помогла его совершить, но он не вправе закрывать глаза на то, что бесспорных и несомненных доказательств виновности Даниловой собрать не удалось, и потому он отказывается от обвинения.

Такое решение дела неприемлемо для Марии Петровны. Если есть хоть малейшее подозрение, что мать обрекла на смерть свою дочь, пусть дело будет вновь расследовано, пусть все, что можно собрать в доказательство ее вины, будет собрано, но не нужно мать оставлять, по старой формуле, «под подозрением».

Если же вы, товарищи судьи, твердо убеждены в том, что Мария Петровна Данилова не виновна в смерти своей дочери, скажите об этом в приговоре.

Счастливая семья Даниловых стала несчастной. Горе, печаль, смерть — все пришло в семью. Но, сломленные горем, все члены семьи Даниловых вправе смотреть людям прямо в глаза, они ничего не сделали, что могло бы их опозорить, и Мария Петровна Данилова ждет, что вы это скажете в своем приговоре.

# ДЕЛО БУГРОВА

## СОУЧАСТИЕ В КРАЖАХ И ГРАБЕЖЕ

Игорь Бугров — ученик 9-го класса, шестнадцати лет — был предан суду по обвинению в том, что он, совместно с группой подростков, участвовал в ряде краж и в двух ограблениях.

Бугров признал себя виновным, и его вина объективно доказана.

Дело слушалось выездной сессией суда, и Бугров был приговорен к краткосрочному лишению свободы в трудовой колонии для несовершеннолетних.

### *Товарищи судьбы!*

Судебные прения подходят к концу. Я говорю последним и не могу не высказать вам некоторых общих соображений по делу.

В первый день процесса поведение подсудимых казалось совершенно неожиданным. Дело слушается выездной сессией, слушается во Дворце искусств. Сотни огорченных, недоумевающих, возмущенных глаз устремлены на подсудимых. Естественно было бы ожидать, что подростки-подсудимые будут испытывать и стыд и смущение. А они стали позировать и красоваться, изображая из себя, хоть и неумело, но старательно, беспретных «рыцарей удачи».

На самые простые вопросы — где родился, по какому адресу живет — подсудимые отвечали с явным вызовом, поигрывая голосом, вздергивая голову, словом, отвечали так, словно десятки юпитеров лили на них свой свет, чтобы запечатлеть «героев» процесса на киноплёнку, а магнитофоны ловили каждое их слово, чтобы донести его до восхищенного потомства.

Их поведение объяснилось довольно скоро: заметив, что процесс вызывает большой общественный интерес, подсудимые превратно это истолковали; они восприняли этот общественный интерес как признание своей исключительности, возомнили себя героями, такими Робин Гудами. Словом, подростки распустили, пышно распустили павлиньи хвосты.

Но вот началось судебное следствие. Допрос велся спокойно, сдержанно, без излишней назидательности, но был строго и точно направленный.

Велся допрос так, чтобы все то, что натворили подростки, отчетливо проступило во всей своей неприглядности. И постепенно не только тот, кого допрашивали, но и его дружки на скамье подсудимых убеждались, что никакие юпитеры не горят, никто их особой исключительностью не наделяет, и если они и вызывают какие-либо чувства к себе, то это отнюдь не восхищение. Они видели, что взрослые, серьезные, много повидавшие на своем веку люди выясняют, как подсудимые стали преступниками, и делают это с огорчением, сознавая необходимость этого, делают так, как поступает хирург, когда вскрывает гнойник. И натканые павлиньи перья стали опадать. Неумело и наспех наложенные краски слиняли, и подсудимые снова становились теми, кем они в самом деле были; становились заурядными правонарушителями, которые по убогости, да, да, по убогости, моральной и интеллектуальной, сломали себе жизнь.

За две недели процесса подсудимые резко изменились. Исчезла их наносная горделивость, мнимое бесстрашие и жалкая игра в исключительность, остались преступно нашкодившие недоумки. Речи и обвинения и защиты ускорили этот процесс саморазоблачения подсудимых, помогли им глубже и яснее осознать преступность того, что ими сделано. Это очень важный результат процесса. Ведь чем острее сознание вины, тем быстрее и полнее наступит исправление.

Подсудимые старались (и по всей вероятности — искренне) не только вам, товарищи судьи, но самим себе объяснить — что же толкнуло их на преступление?

Почти все подростки, сидящие сейчас на скамье подсудимых, жили в семьях, в которых были сильны моральные начала и укоренялись трудовые навыки.

Большинство этих подростков училось в школах, где их воспитывали опытные, умелые педагоги.

И вот они пошли на преступление, причем не на одно, и не на случайное.

Как же это произошло?

Свое участие в преступлении подсудимые объясняли тем, что поддались чувству товарищества, боялись показаться трусами перед своими товарищами, что их привлекала сама опасность и соблазняла возможность проявить смелость.

Эти объяснения явно недостаточны. Они далеко не во всем верны. Энергичную отповедь этим объяснениям дал в своей речи товарищ прокурор. Он говорил о карликовых деревьях, которые можно увидеть в нашем Ботаническом саду. У деревьев-карликов имеются и ствол, и корни, и листва — словом, есть как будто все то, что и у настоящих деревьев. Но и ствол, и ветви какие-то жалкие, искривленные, искалеченные. Смотришь на такого карлика, и остается гнетущее чувство. И вот, говорил товарищ прокурор, как мало общего у высокого красавца дуба со скрюченным уродцем карликом, столь же мало похожи гордые и прекрасные чувства — дружба, смелость, стремление к неведомому — на те карликовые даже не чувства, а скорее ощущения, которые подсудимые осмелились называть чувством товарищества и смелостью.

Образно говорил товарищ прокурор, ничего не скажешь, очень образно. Но ведь это только констатация фактов и их оценка. А где же объяснение причин, толкнувших на преступление?

В этом делении на великанов и карликов нет полной жизненной правды. В жизни ведь все бывает по-иному. Неверно думать, что хорошего юношу от плохого подростка отделяет пропасть, непроходимая пропасть. По одну, дескать, сторону пропасти пролегает широкий и светлый жизненный путь, по которому шагает чистый и хороший подросток, а по другую сторону пропасти извивается тропка и по ней пробирается преступный подросток, тропка, в конце которой только топи и болота.

Не так обстоит дело.

Не сразу, не рывком уходит с верного пути подросток. Еще не зная всей опасности, часто неосознанно,

неуверенно делает подросток свой первый шаг в сторону от верного пути. Вот тут бы его и остановить, помочь ему раскрыть глаза на губительные последствия этого шага. И это не общая фраза. Наш процесс — убедительнейший тому пример.

Защищая Игоря Бугрова, я не могу не говорить об этом.

В объяснениях Бугрова с особой наглядностью показана та развилка, с которой от верной дороги и отходит тропка, ведущая к преступлению. Можно установить с точностью до одного дня тот момент, когда Бугров и его школьные товарищи вступили на эту тропку.

Это было 2 февраля прошлого года — свыше полутора лет назад.

В январе, после каникул, Курганов поделился с Бугровым, Кислицыным и Гвоздевым своей тайной. Ошеломляющей, потрясающей, самой таинственной из всех тайн! Он, Курганов, разведал, где зарыт огромный клад. Если бы это сказал не Курганов, то Бугров (в то время ему уже шел 15-й год) и его товарищи отнеслись бы с насмешкой к подобному сообщению. Но ведь о кладе сказал Витёк Курганов. Витек был непререкаемым авторитетом в своем 8-а классе. Смышленный, развитой, веселый, он умел подчинить себе других. Товарищи прощали ему постоянное стремление верховодить. Вероятно, потому что с ним всегда было интересно — он обладал живым воображением. Витек Курганов так горячо верил в существование клада, так был захвачен открывшейся ему тайной, что если бы у его друзей и зародилось сомнение, они бы устыдились его, как предательства.

Курганов обладал опасным свойством: он и сам верил в то, что выдумывал, и умел других заставить поверить.

Итак, Витек Курганов открыл, что в подземелье Казанского собора зарыт клад. Дело оставалось за малым — раздобыть его. Друзья разработали подробный план проникновения в подземелье, и в ночь на 2 февраля поход состоялся.

Дома «кладоискатели» сообщили, что в школе состоится вечер и что они вернутся попозднее, поэтому из дома их отпустили беспрепятственно.

Все удалось на славу. В подземелье пробрались так,

словно на каждом была шапка-невидимка. В поисках клада три часа трудились не щадя усилий. Как ни странно, но клада в подземелье не оказалось.

Обескураженные, слегка стыдясь друг друга, вышли Курганов и его друзья из подземелья Казанского собора и направились домой.

Когда они проходили мимо памятника Екатерине II, Курганов, — вероятно, для того, чтобы показать свою ловкость и тем как бы возместить урон, нанесенный его авторитету, — взобрался на высокий цоколь памятника. Там он случайно обнаружил, что на изваянии Суворова плохо прикреплена шпага. Не долго думая, Курганов вырвал ее и спрыгнул вниз.

Очевидно, и Бугрову и другим подросткам можно поверить, что им пришлось не по душе то, что сделал Витек. Они не всё раскладывали по полочкам, но и не могли избавиться от неприятного чувства, что выходка Курганова чем-то задевала и оскорбляла память Суворова. Каждый из них хотел, чтобы Курганов вернул Суворову шпагу, но сказать об этом никто не сказал. И мы понимаем, почему они промолчали. Каждый из них стеснялся быть лучше других, боялся, как бы его не упрекнули товарищи: «Мы, мол, не меньше тебя чувствуем обиду за Суворова. Но мы промолчали, а ты лезешь вперед». Молчание подростков объяснимо, но это, конечно, не значит, что оно оправдано. Стоило кому-нибудь из них первым найти в себе решимость и сказать: «Верни шпагу Суворову», и Курганов, несомненно, это бы сделал, а жизнь каждого из этих четырех незадачливых «кладоискателей» пошла бы совсем по иному пути.

Курганов принес шпагу домой и спрятал ее. Но через два дня мать Вити, Екатерина Николаевна Курганова, обнаружила шпагу и спросила у сына, откуда он ее достал. Витек ответил, что нашел.

Я хочу хорошо думать о Екатерине Николаевне Кургановой, думать, что она поверила своему сыну и поэтому ни о чем не стала его расспрашивать. Но я не вправе не сказать и другого. Если бы Екатерина Николаевна встревожилась, забеспокоилась, если бы она нашла верный и заботливый тон в разговоре со своим сыном, то, надо полагать, он рассказал бы ей правду. Но она этого не сделала, и события пошли своим чере-

дом. Екатерина Николаевна потребовала от сына: «Унеси шпагу, не смей держать ее дома».

Так, конечно, спокойнее. Но правильно ли это?

Нет нужды, товарищи судьи, напоминать вам, как шпага была спрятана в сарае соседнего магазина и как она пропала из этого сарая тогда, когда туда были помещены ящики с вином и ящик с шоколадом.

Я не могу не упомянуть о первом преступлении, совершенном группой подростков, — о краже шоколада из сарая. В этой краже Игорь Бугров участия не принимал, но он дал согласие на участие в преступлении и знал, когда оно совершится. И вопрос о том, как случилось, что Бугров вместе с другими решился на кражу, имеет немаловажное значение.

И Бугрова, и Кислицына, и Гвоздева, да и Курганова по первому преступлению допрашивали в разное время и в условиях, когда они друг с другом общаться не могли. И все они показали совершенно одинаково: все четыре школьника считали, что шпагу Суворова забрал директор магазина, которому принадлежал сарай. Пойти к директору и потребовать возврата шпаги они не могли, а примириться с тем, что тот забрал шпагу, они также не могли. И у них возникло стремление отомстить директору. Но как?

«А что, если вытащим шоколад из сарая? Директор придет за ним, а его и нет», — подумали ребята.

Кто из них первым предложил это — мы не смогли установить, но зато точно установлено, что поначалу все ребята сочли этот план диким. Никто не подумал, что он будет осуществлен.

Но у ребят уже разыгралось воображение. Они стали представлять себе, как расстроится и как огорчится директор, увидев, что шоколада нет. И не кто иной, как Бугров, сказал: «Нет, ящик нужно оставить, но шоколад из него вынуть и на дно положить записку директору: „Не вздумайте заколоться шпагой“».

Постепенно ребята стали спорить о технических деталях — о способе и времени выноса шоколада из сарая, о том, как припрятать его, и они как будто даже и не замечали, что ведь речь идет о краже. Они все еще были далеки от мысли, что кража будет совершена.

Подробности своих будущих действий ребята обсуждали так легко и невозмутимо потому, что имели в виду

лишь мечь директору. И если они говорили о выносе шоколада, то только так, как говорили бы о путешествии на плоту через океан: интересно, увлекательно, щекочет нервы, но совершенно несбыточно, в реальной жизни неосуществимо.

Так, споря о технических приемах выноса шоколада, ребята постепенно, незаметно для себя, приучили себя к мысли о преступлении. Мало-помалу они перестали ощущать недопустимость и преступность тех планов, обсуждение которых для них стало чем-то привычным.

Как можно приучить себя к отравлению алкоголем или никотином, так ребята, не замечая этого, шаг за шагом, приучили себя к мысли о том, что ничего ужасного и недопустимого в краже шоколада нет.

Дней через пять Кислицын сказал: «Чего языком молоть, шоколада, может, уже и нет» — и пошел «в разведку». Вернулся он с плиткой шоколада. Уворованного! Похищенного! Вернулся с плиткой шоколада — неопровержимым доказательством того, что на складе шоколад сохранился. И если каждый из четырех подростков до этой первой взятой плитки шоколада был уверен, что кража не состоится, если каждый, очевидно, где-то в глубине души надеялся, что что-то помешает им, то сейчас... сейчас кража вдруг пугающе приблизилась.

Я об этом говорю так подробно потому, что важно, очень важно раскрыть процесс соскальзывания подростков на путь к преступлению.

Бугров не принимал участия в краже, но, как это ни звучит парадоксально, его уклонение от участия в краже и толкнуло его в дальнейшем на преступление.

В день, намеченный для кражи, Надежда Сергеевна, мать Игоря Бугрова, почувствовала себя плохо и раньше времени вернулась с работы домой. Здесь стало ей еще хуже. Когда Игорь вернулся домой из школы, мать металась в бреду. Вызванный врач установил, что у Надежды Сергеевны воспаление легких. Игорь дежурил у постели больной матери. Никто другой этого сделать не мог: ведь они живут с матерью только вдвоем. Отец погиб на фронте.

Всю ночь Игорь с болью и тревогой прислушивался к дыханию матери и, естественно, забыл и думать о том, что в эту ночь было намечено украсть шоколад.



Наутро Игорь Бугров в школу не пошел: не на кого было оставить мать. К вечеру ей стало легче. Зашла соседка. Она стала рассказывать новости и вдруг спохватилась, что самого интересного она едва не забыла: сегодня ночью обокрали склад магазина. И соседка рассказала, как пришли сотрудники уголовного розыска с собакой, как говорили, что остались свежие следы и по ним непременно найдут воров.

Все это Игорь слышал.

Выйти из дома он не мог. Никто из товарищей к нему не приходил. И вы помните рассказ Игоря Бугрова: он легко представлял себе, как собака-ищейка сначала приводит к Витьку (он ведь чаще других бывал в сарае), как от Витька собака идет к Кислицыну, потом к Гвоздеву. Их всех арестовывают и ведут мимо его дома. И Игорь ясно представлял себе, как все трое отворачиваются, когда проходят мимо его дома, дома, где живет тот, кто оставил их одних в опасном деле. Ночью у Надежды Сергеевны понизилась температура, и утром Игорь пошел в школу.

Может, ему показалось, а может, и на самом деле так было, но Курганов, Гвоздев и Кислицын, которые как ни в чем не бывало пришли в школу, не замечали Игоря. Да кто же станет замечать труса? Этого Игорь стерпеть не мог. Он им сейчас же все расскажет, и они поймут, что зря его осуждают.

Игорь рассказал товарищам о болезни матери, и, не думая о том, что говорит, стремясь избавиться себя от подозрения в трусости, он вдруг сказал: «Вот увидите, как я буду себя вести в следующий раз». И только сказав «в следующий раз», он понял, что дает согласие на участие в преступлении. Это поняли и другие.

Так начался преступный путь Игоря Бугрова.

Напоминая вам об этой злополучной фразе Бугрова, товарищ прокурор сказал, что Бугров жалел и печалился, что не принял участия в преступлении. Он, мол, явно завидовал Курганову и другим: те стали уже ворами, а он отстал, и ему не терпелось скорее взяться за второе грязное дело. Бугров подгонял их.

Если фразу, произнесенную Бугровым, воспринимать только лексически, если не видеть, не хотеть увидеть того, что в действительности за ней кроется, то тогда такое истолкование может быть сделано. Но это будет

не только неверное, но и несправедливое толкование. Бугров вправе удивиться, что его так неверно и так нехорошо поняли. Разве не очевидно, что, когда Бугров подходил к своим друзьям, то ему и в голову не приходило толкать их на преступление? Разве не очевидно, что, сказав «в следующий раз», Бугров ничего конкретного не имел в виду! Он и не думал о предстоящем преступлении. Бугров стремился только к одному, и ни к чему другому: убедить друзей, что он их не оставит, что он с ними готов пойти на все — и на хорошее, и на плохое.

Конечно, готовность идти с товарищами и на хорошее, и на плохое — отнюдь не добродетель. Конечно, Бугрову, будь он покрепче, поумней и повзрослей, следовало бы сказать: «На хорошее я с вами пойду, а на плохое сам не пойду и вас не пушу». Но он так не сказал и пошел на худое — совершил преступление.

Игорь Бугров не стал инициатором второй кражи, совершенной Кургановым и другими, как не был он ни зачинщиком, ни верховодом и во всех остальных преступлениях.

Укрыв ящик шоколада, и Курганов, и Кислицын, и Гвоздев были немало напуганы тем, что сделали. Их мучил стыд. Навалилась на них и забота: а что делать с ящиком шоколада? Сотни плиток ведь по карманам не рассуешь! Следовательно, шоколад нужно прятать, нужно уходить от подозрений, ловчить, чтобы не быть пойманными. И тут на беду подростки повстречали Фонарева, того самого Фонарева, который скрылся и от следствия и от суда. Фонарев «выручил» Курганова и его приятелей: он припрятал шоколад, затем продал его и выделил им долю.

То лестью, то насмешкой Фонарев подстегивал, подталкивал подростков, понуждая их ко второй краже. В ней принял участие и Бугров. И уж после второй кражи покатались, понесли вниз те, кто еще месяц тому назад были честными.

И все же было бы неверно, вскрывая мотивы преступления, уместать их на прокрустово ложе однозначного понятия.

Среди побуждений, толкнувших Игоря на преступление, были мотивы, несомненно заслуживающие осуждения, но были и такие, о которых следует говорить без

осуждения, но с пониманием, были и добрые побуждения, но они были искажены ложным толкованием.

Когда мы слушаем дело о подростках, нам следует с особой требовательностью относиться к себе самим. Приговор всегда должен быть убедительным, но когда он выносится подросткам, то требование убедительности должно удесят�ериться. Приговор должен обладать такой убедительностью, он должен быть настолько точным по мысли и по чувству, чтобы он мог помочь подросткам открыть им самих себя, чтобы он помог им взглянуть на себя глазами людей, в чью добрую проницательность они поверили.

Бугрову предъявлено обвинение в участии и в краже, и в ограблении.

Все то, что ему предъявлено, доказано и обосновано. Нет спора и против правовой характеристики того, что совершил Бугров. Бугрова следует осудить. Как это ни печально, но это так. Но, осуждая Бугрова, вы, товарищи судьи, очевидно, отразите в приговоре не только худое, но и то доброе, что было в Игоре Бугрове. Бесспорно установлено, что в последних четырех преступлениях, совершенных группой подростков, Игорь Бугров не принимал участия. Не принимал потому, что наотрез отказался совершать преступления. Не легко и не просто было Игорю порвать с теми, с кем его связывала дружба и с кем он был вместе во всех их делах. Но сила сильнее дружбы побудила его отказаться от преступлений. Этой силой была совесть. И мы не имеем права не услышать в Игоре Бугрове этого голоса совести.

Много, бессчетное количество раз вы, товарищи судьи, слышали, как вам заявляет защита: «Доверие лечит. Окажите доверие подсудимому, и это поможет ему исправиться». Много раз вы это слышали, и тем не менее я решаюсь это повторить, не боясь упрека в штампе. Ведь для каждого подсудимого мысль о том, что его можно лечить и излечить доверием, оказывается мыслью свежей, неожиданной.

Для него ваше доверие действительно станет той благодатной силой, которая поможет ему укрепиться в хорошем.

Вот почему я и прошу вас о доверии к доброму началу в Бугрове. Прошу вас осудить его условно.

# ДЕЛО ПОПОВОЙ

## ПРЕСТУПНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ

Н. И. Попова работала в летний период инструктором в альпинистском лагере. Совместно со старшим инструктором Волькенштейном она руководила восхождением группы альпинистов-новичков на несложную по трудности вершину «Семенов-Баши». Ведя свою группу, Попова отклонилась от пути, по которому шел с остальными альпинистами начальник всей группы Волькенштейн, и повела ее по другому маршруту. При прохождении по гребню горы альпинистам, которых вела Попова, предстояло спуститься по узкому и крутому «желобу» (естественной выемке в горе), конец которого выходил на край пропасти. Нужно было осторожно спуститься по желобу и, не доходя до конца, свернуть в сторону, а затем вновь подняться на гребень.

Участники восхождения шли в связке, то есть связанные по четверо предохранительной веревкой.

В одной из связок находились четыре студента: Некрасов, Якимова, Лиля Смирнова и Андрей Тищенко. Первым двинулся по желобу Некрасов. Остальные трое его страховали. Когда Некрасов вышел на гребень и занял безопасную позицию, по желобу прошла Якимова. После того как и она благополучно его миновала и встала рядом с Некрасовым, по желобу пошла Лиля Смирнова. Андрей Тищенко обязан был оставаться на месте, на одном конце связки. Лилю Смирнову страховать на одном конце связки должны были Некрасов и Якимова, а на другом — Тищенко. Но как только к желобу подошла Лиля Смирнова, Андрей Тищенко пошел за ней. Дойдя до желоба, Андрей дотронулся рукой до «живого» камня, то есть до камня, который лежал неустойчиво и которого нельзя касаться из-за опасения вызвать падение. Большой и тяжелый «живой» камень

от прикосновения Андрея Тищенко тронулся с места. Андрей не смог удержать его, и камень, упав в желоб, понесся вниз, увлекая за собой и Андрея, и Лилю, которая не успела выскочить из желоба.

Описав высокую дугу, Андрей и Лиля повисли над пропастью. Предохранительная веревка, которую удержали Некрасов, Якимова и подоспевшая Попова, не выдержала динамической нагрузки и оборвалась. Андрей Тищенко и Лиля Смирнова упали на обломки скал, выступавшие на дне пропасти, и погибли.

Попова была предана суду по ст. 111 УК.

Дело слушалось в народном суде в Ленинграде.

Попова была оправдана.

### *Товарищи судьи!*

Родители Лили Смирновой и Андрея Тищенко не томились предчувствием, не испытывали ни печали, ни тревоги, когда отпускали их в альпинистский лагерь. Да и с чего было им тревожиться? Они ведь знали, что там, в лагере, опытные и заботливые наставники ждут юных альпинистов. Родители не сомневались, что безопасность походов будет твердо и надежно обеспечена.

Как далеки были они от мысли, что при первом же восхождении Лилю и Андрея подстерегает смерть на гребне невысокой вершины «Семенов-Баши». Где же были опытные и заботливые наставники? Как допустили они гибель девушки и юноши?

Естественно, что с тех, кому были доверены жизнь Лили, Андрея и их товарищей, в первую очередь нужно спросить, и спросить строго. Спрашивая с них, никто не смеет забывать огромного, неизбывного горя, которое обрушилось на родителей Андрея и Лили.

Они присутствуют здесь, товарищи судьи, и они, помимо вас, вершат свой суд. Их приговор не может быть безразличен Поповой, и пусть мне будет позволено защищать ее не только перед вами, защищать ее не только от правового, но и от не менее тяжкого морального обвинения.

Не забывая ни на минуту, что я защищаю Попову, я все же должен сказать товарищу прокурору: «Если вы считаете доказанным, что на совести Поповой две

молодые и прекрасные человеческие жизни, то следовало говорить более резко и жестко! Разве можно тогда ограничиться установлением формальных признаков вины и не дать общественно-моральной оценки и тому, в чем обвиняют Попову, и ей самой? Если Лиля Смирнова и Андрей Тищенко, юные, жизнелюбивые, полные сил, погибли по вине Поповой, то пусть бы она услышала: «Попова, вы — врач, вы — педагог, вы — мастер спорта, вам были доверены жизни альпинистов-новичков. Каждая из ваших профессий — врача, педагога, мастера спорта — рождала веру, что вы будете с великой заботой, с умной и сердечной предусмотрительностью оберегать от опасностей юношей и девушек, оставленных вашему попечению. А что вы сделали? Вы повели в горы Лилю и Андрея, не подозревавших об опасности, веривших, что вы, несомненно, выберете для них самый безопасный путь, и привели их к пропасти. Не к фигуральной, не к взятой напрокат из поэтических архивов, а к реальной, ощеренной обломками скал, и там, на самом краю пропасти, оставили их без помощи и заботы, которые как никогда были нужны им. Вы не только не оберегли их, — вы обрекли их на смерть своим равнодушием и безучастием к их судьбе».

У товарища прокурора было право, если он считал вину Поповой доказанной, бросить ей эти гневные и беспощадные слова. И тем не менее он не сделал этого.

Объяснить это можно только тем, что обвинение считало необходимым доказать, что Попова нарушила инструкцию по альпинизму, отступила от установленных правил безопасности восхождения на горы. Обвинение считало, что этого достаточно для ее осуждения. А почему Попова это сделала — потому ли, что она не страшилась тягчайших для молодых альпинистов последствий, или потому, что самонадеянно полагалась больше на свой опыт, чем на инструкцию, — это не меняет, в конечном результате, вывода о ее виновности.

Но защита не вправе ограничить свою задачу только спором о том, допустила ли Попова какие-либо отступления от официально утвержденных правил восхождения на горы.

Предположим, что все инструкции, от первого до последнего параграфа, полностью соблюдены, все какие ни на есть правила безопасности применены, допустим,

что все без изъятия постановления об альпинизме выполнены, все равно это вовсе не означает, что исчезло если не правовое, то моральное обвинение: форму-то Попова соблюла, но несчастья бы не произошло, прояви она подлинную заботу о Лиле и Андрее, не оказалась она равнодушным, черствым человеком!

Пусть не существует таких инструкций и постановлений, от которых отступила Попова, но если Андрея и Лилю могли спасти горячая забота, напряженное раздумье, зоркая предусмотрительность, а их Попова не проявила, — значит, она виновата!

Там, где погибли две молодые жизни, малейшая непредусмотрительность оборачивается грозным обвинением, там пылинка безучастия вырастает в ядро равнодушия, тянущее ко дну виновного.

Вот почему своей основной задачей я считаю защиту Поповой от обвинения ее в позорном равнодушии, в тупом безразличии к жизни тех, кого она вела на вершину «Семенов-Баши».

Защищать Попову от чисто правовых обвинений сравнительно просто.

И в обвинительном заключении и в речи товарища прокурора дается одинаковый ответ на вопрос: как же случилось, что на самом опасном участке пути, на том месте, где узкий желоб круто опускался, обрываясь на самом краю пропасти, на том месте, где была необходима величайшая осторожность, эта осторожность не соблюдалась?

Дается ответ, которому нельзя отказать разве только в четкости: Попова своим поведением, личным примером побудила юных альпинистов нарушить правила предосторожности! Все участники восхождения шли в связке, и лишь одна Попова, руководитель, с которого все брали и должны были брать пример, шла вне предохранительной связки. Этим самым она создавала чреватое опасностями впечатление, что путь безопасен, что его можно пройти без охранения. Потому-то и пошел по желобу без охранения Андрей Тищенко.

Да, это верно — Попова шла вне связки.

Но можно ли из этого факта делать те выводы, к которым пришло обвинение? Можно ли поставить в вину Поповой то, что она во время восхождения на вершину «Семенов-Баши» шла вне связки?

Экспертиза, представленная шестью видными авторитетами, установила два бесспорных положения: первое — не существует никаких инструкций или правил, которые обязывали бы Попову находиться в связке. Вedomые ею новички должны были находиться в связке, это верно, но ее, руководителя и инструктора, ничто не обязывало находиться в связке. Ничто не накладывало на Попову обязанность делать при восхождении что-либо по-иному, чем она это делала.

Поповой предъявлено обвинение по статье 111 УК РСФСР в том, что она, идя не в связке, нарушила служебную обязанность, а на нее никто и ничем не возлагал обязанности ходить в связке. Не случайно ведь ни в постановлении о предъявлении обвинения, ни в обвинительном заключении, ни в речи товарища прокурора нет указания на какие-либо законоположения, которые нарушила Попова, поднимаясь в горы вне связки. Нельзя нарушить то, чего не существует!

Экспертиза установила и второе, не менее существенное положение: нет никакой причинной зависимости между тем, что Попова находилась не в связке, и несчастным случаем с Андреем и Лилей.

Любое из этих двух положений убедительно доказывает, что для обвинения Поповой не существует правовых оснований.

Но я ведь принял на себя обязательство защищать моральный облик Поповой. А нужно признать, что заключение экспертов не освобождает Попову от моральной ответственности. Поэтому необходимо ответить на вопрос — не вызвало ли нахождение Поповой вне связки ошибочное представление у молодых и неопытных участников восхождения о легкости пути? Не вызвало ли поведение Поповой у новичков мысли: «Путь, должно быть, легок и безопасен, если инструктор не принимает никаких предохранительных мер»?

Моральная тяжесть такого предположения достаточно велика. Некоторые основания к такому предположению дает и экспертиза. Эксперты, правда, с большой осторожностью, но все же пришли к выводу: то обстоятельство, что Попова не включалась в связку, могло породить ошибочное представление о том, что опасность невелика.

Эксперты отнюдь не утверждают, что своим поведе-



нием Попова создала впечатление о безопасности пути. Они лишь высказывают общую, теоретически отвлеченную мысль: «Нахождение вне связки может породить мысль о безопасности пути».

В обвинительном заключении и в речи товарища прокурора эта часть экспертизы претерпевает некую весьма знаменательную метаморфозу. Из заключения экспертизы исчезает слово «могло», и оно, это заключение экспертизы, выглядит уже так: «Поведение Поповой породило представление».

Нужно ли доказывать, что возможность породить представление вовсе не означает неизбежности его возникновения.

В каждом желуде таится возможность могучего ветвистого дуба. Но кому в голову придет судить за порубку леса человека, который собрал несколько желудей?

Спору нет, поведение Поповой, говоря в отрыве от конкретной обстановки, говоря теоретически, могло породить ошибочное впечатление. Но чтобы эта теоретическая мысль стала основанием для обвинения, необходимо подтвердить фактами и доказать, что поведение Поповой создало среди участников восхождения впечатление легкости пути.

Спор о том, создала ли Попова у новичков ошибочное представление о легкости пути, разрешается очень просто. Для этого достаточно восстановить в памяти показания Савон, Лебедева, Вознесенской и других участников восхождения. Это они 22 июля прошлого года, молодые, веселые, охваченные радостным волнением, поднимались на свой первый подъем. Что и говорить, первая вершина, конечно, окутана романтической дымкой. У молодых альпинистов от сознания своего первого спортивного подвига легко кружилась голова, и нужно было проявить особую заботу о том, чтобы у них ни на минуту не исчезало ощущение трудности и опасности пути, чтобы у них ни на минуту не исчезала мысль об особо острой необходимости соблюдать дисциплину восхождения.

Все участники восхождения были опрошены на суде. Как они расценивали то, что инструктор, то есть самый опытный из них человек, ходит не в связке? Все они, и свидетельница Пигулевская, и свидетельница Возне-

сенская, и Лебедев, и Савон, сказали одно и то же. Слова были разные, но смысл у всех одинаков: «Мы считали, — говорили они, — что Попова шла вне связки для того, чтобы иметь возможность лучше за нами наблюдать и помочь нам в трудную минуту. Мы понимали, что Попова идет не в связке и тем самым подвергает себя некоторой опасности не из беспечности, а из-за повышенной требовательности к себе как к руководителю».

Как видно, спор решен. Поведение Поповой не только не создавало впечатления легкого пути, а, наоборот, оно настораживало участников похода: «Внимание! Путь опасен. Недаром наиболее опытный участник восхождения принял все меры, чтобы в случае опасности немедленно прийти на помощь».

Думаю, что никто не решится усомниться в точности, не говоря уже о правдивости показаний Пигулевской, Савон и других свидетелей.

Участники восхождения были связаны крепкими и прочными узами дружбы с Лилей и Андреем. Ведь действительно, у кого, как не у них, до сих пор живут в сердце горечь и боль, вызванные гибелью их товарищей. Перед ними до сих пор стоят, не исчезая, мельчайшие подробности того дня, когда они стали свидетелями катастрофы! Решится ли кто-нибудь заподозрить участников восхождения в том, что они готовы оскорбить память своих друзей, помогая и выгораживая тех, кто виновен в смерти Лили и Андрея? Товарищи Андрея и Лили не простили бы виновникам их смерти ничего и никогда. И если после того, как свидетели видели на дне пропасти два распластанных на скалах трупы, они говорят: «В смерти наших товарищей Попова не виновата. Ее поведение не создавало впечатления, что путь наш будет легким», то не верить этим показаниям невозможно!

Попова подвергала себя некоторой опасности, идя вне связки, но зато она обеспечивала безопасность участников восхождения.

Если бы Попова находилась в связке тогда, когда этот несчастный случай произошел, насколько морально труднее было бы ей защищаться! Тогда можно было бы сказать Поповой: «Зачем вы шли в связке? Вас ведь ничто не обязывало к этому. Вы знали, что нахождение

в связке ограничивает вашу возможность наблюдать за прохождением всех участников. Почему, думая о своей безопасности, вы не позаботились о безопасности других?» И на все эти вопросы Поповой было бы трудно, очень трудно ответить.

У Поповой нет оснований укорять себя за то, что она шла вне связки. У нас нет оснований считать виновной Попову, по крайней мере, по этому пункту обвинения.

Позвольте перейти ко второму, последнему пункту обвинения, предъявленного Поповой.

Поповой ставится в вину то, что она самовольно отклонилась от маршрута, которым шел Волькенштейн, начальник всей группы, что и вывело, как утверждает обвинение, Попову и тех, кто шел за ней, на опасный, приведший к несчастью путь.

Да, и это верно. Попова отклонилась от пути Волькенштейна.

Имела ли она право сделать то, что сделала? Имела ли она право уклониться от пути, по которому прошел Волькенштейн? И здесь, разрешая этот вопрос, я не стану защищать Попову формально.

В своем заключении экспертиза признала, что Попова имела право отклониться от пути, по которому шел Волькенштейн.

Волькенштейн показал, что он не давал никакого приказа следовать за ним, по его же пути. Таким образом, установлено, что ни общей директивы, ни специального приказа, запрещающего отклониться от пути Волькенштейна, не существовало.

Попова вправе была отклониться от пути.

Но тут возникает иной вопрос: должна ли она была это сделать? Не случилось ли так, что, избирая новый путь, Попова выбрала его легкомысленно, проявив при этом небрежность, не проверив, безопасен ли этот путь?

В обвинительном заключении не утверждается, что выбор пути был произведен легкомысленно. Обвинительное заключение довольствуется указанием, что Попова избрала не тот путь, по которому шла группа Волькенштейна. Если выбор пути сделан Поповой ошибочно, но не в результате небрежности или халатности, то ведь и ошибочный выбор пути не может породить уголовной ответственности. Но по-прежнему ставя своей задачей

защиту морального облика Поповой, я попытаюсь доказать, что и отклонение от пути Волькенштейна, и выбор нового маршрута были сделаны в результате неустанной заботы о безопасности молодых альпинистов.

Товарищ прокурор выдвигает соображение, которое на первый взгляд кажется неопровержимым: зачем надо было Поповой искать новый маршрут, если до нее Волькенштейн провел по своему пути три «связки» альпинистов и все они прошли благополучно? Нужны ли более веские доказательства безопасности пути Волькенштейна? Нужно ли искать более веских доказательств того, что уклоняться от пути Волькенштейна Попова не имела никаких оснований?

Эта внешне логическая безупречность рассуждений товарища прокурора легко опровергается фактами. Да, три «связки» альпинистов прошли по пути Волькенштейна в полной безопасности, но *после* прохождения третьей путь перестал быть безопасным. Третья «связка» вызвала камнепад. После третьей «связки» идти по этому пути, безопасному до камнепада и крайне опасному после него, уже было нельзя.

Товарищ прокурор, мы ведь не вправе пренебрегать совершенно бесспорным фактом, что по этому, казалось бы безопасному, пути, повести по которому вы обязываете Попову, сейчас же после несчастного случая пытался пройти не случайный человек, не новичок, а заслуженный мастер спорта по альпинизму Захаров, и он должен был с полпути вернуться обратно, настолько этот путь оказался опасным.

Итак, бесспорно доказано, что Поповой не только можно, но нужно было уклониться от пути Волькенштейна, ибо камнепад сделал его опасным.

Но правильно ли избрала Попова свой вариант пути? Может быть, правильно уклонившись от пути Волькенштейна, Попова легкомысленно избрала другой, не менее опасный путь?

Прежде чем пустить свою группу по избранному пути, Попова два раза сама прошла по намеченному ею маршруту. Два раза она поднималась и опускалась и оба раза убеждалась в том, что этот путь безопасен.

Но, быть может, проходя оба раза, Попова уменьшила опасность пути?

Неопровержимое доказательство того, что путь, из-

бранный Поповой, является путем безопасным, если, конечно, соблюдать правила предосторожности, заключается в том, что после несчастного случая Волькенштейн повел последнюю группу именно по этому пути.

Попова повела альпинистов по своему пути. Произошел несчастный случай. Лиля Смирнова и Андрей Тищенко сорвались в пропасть и погибли. К месту несчастного случая приходит Волькенштейн. Он берет на себя обязанность провести четырех человек, оставшихся на западном склоне.

Казалось бы очевидным, что он поведет их не по тому пути, где произошла катастрофа, а по другому. Но Волькенштейн обследует различные возможные пути и отказывается повести четвертую группу по тому пути, по которому он раньше провел свои три группы. Нужно ли более убедительно доказывать то, что Попова не только могла, но и обязана была не идти по тому пути, по которому и Волькенштейн отказался повести последнюю группу?

Волькенштейн обследует все пути и выбирает наиболее безопасный. Какой же это путь? Оказывается — тот, который избрала Попова. И это происходит после несчастного случая. Сразу же после несчастного случая, когда невольно преувеличивается опасность пути, Волькенштейн все же ведет свою группу этим путем, так как он является наиболее безопасным.

Вслед за Волькенштейном идут четверо молодых, неопытных альпинистов. Они только что видели, как на этом пути свалились в пропасть два их товарища. Естественно, что мысль о гибели товарищей должна психологически намного увеличивать трудности пути, и все же участники этой последней группы единодушно утверждают: путь не был ни трудным, ни опасным.

Я вправе считать, что материалы дела позволяют сделать вывод: Попова настойчиво и умело искала безопасный путь, искала и нашла его.

Но почему все же произошел несчастный случай?

Вооруженные специальными знаниями эксперты дали ответ на этот самый важный вопрос по делу: «Катастрофы не было бы на этом пути, если бы Андрей Тищенко не взялся за камень».

Совсем рядом с узким желобом, по которому шла группа Поповой, лежал «живой» камень. Все до еди-

ного участники восхождения показали, что Попова предупредила их: «Камень „живой“, трогать его нельзя и обходить его нужно не касаясь». Участники восхождения показали, что можно было свободно пройти по желобу, не касаясь камня.

Первым прошел Некрасов. Он не коснулся камня. Второй прошла Якимова. Она не тронула камня. Третьей прошла Лиля Смирнова, и она также миновала камень, не дотронувшись до него.

Последним пошел Андрей.

Зачем же он взялся за камень? В том, что он взялся за камень, по-моему, меньше всего было легкомыслия, озорства, неуважения к жизни товарищей и пренебрежительного отношения к себе самому.

Если Андрей, проходя мимо камня и зная, что его нельзя трогать, все же дотронулся, то это можно объяснить только тем, что его вынудила к этому какая-либо случайность, которую нельзя было предусмотреть. Все то, что произошло потом, убедительно свидетельствует не о легкомысленности Андрея Тищенко, а о его верном понимании своей ответственности перед товарищами.

Андрей коснулся камня, камень слегка закачался, готовый вот-вот полететь вниз. Если бы Андрей был себялюбив и труслив, то он бы отпрянул назад. Но он так не поступил. Он повернулся лицом к камню и лег на него. Это можно объяснить только одним: почувствовав, что камень шатается, Андрей совершил ошибку, но из самых благородных побуждений. Он хотел силой и тяжестью своего тела задержать камень, потому что думал о Лиле Смирновой, которая еще не успела выйти из желоба.

Пытаясь удержать камень, Андрей, к несчастью, только ускорил его падение. Но как только Андрей почувствовал, что возникает опасность падения камня, он подумал не о себе, а о товарище, шедшем по желобу. Ставя себя под угрозу гибели, он стремился спасти жизнь Лили. Первой мыслью Андрея была мысль не о себе, а о товарище, которому грозила опасность.

Думаю, что не оскорблю память чудесного советского юноши, если скажу, что в эту последнюю минуту его жизни его мучила мысль, что он чем-то нарушил долг, который на него возлагало звание альпиниста.

Остается решить вопрос: почему Андрей, зная, что

он не имеет права двинуться до тех пор, пока Смирнова не придет на место и пока он не получит команды тронуться в путь, почему же Андрей все же двинулся со своего места раньше времени?

О мотивах своего поведения лучше всего мог бы рассказать сам Андрей Тищенко, но, к несчастью, сделать этого он уже не может. Нам ничего не остается, как ограничиться предположением.

Андрей видит, как легко прошел Некрасов по желобу, и думает: и мне будет нетрудно. Андрей видит — прошла Якимова по желобу, и тоже легко. В голове Андрея укрепляется мысль: ага, значит, совсем нетрудно. Вот пошла Смирнова. Идет спокойно. Андрей делает вывод: путь легкий, к чему же тут особые предосторожности? Андрей знает, что он более сильный, более ловкий, чем Лиля. А уж если она прошла, то неужели он не пройдет? Андрей немного взбудоражен восхождением, в нем силушка по жилочкам разливается, ему хочется и удаль и смелость свою показать, да и обидно ждать, как ему кажется, из-за пустых формальностей. Вот Андрей и двинулся в путь раньше времени.

Почувствовав, что создалась опасность, Андрей героически пытается спасти подругу. Но поздно.

Правда не оскорбит памяти Андрея. Правы эксперты: не двинься Тищенко раньше времени, вся группа прошла бы благополучно и этот участок пути не оказался бы гибельным.

Когда речь идет об альпинизме, мы не закрываем глаза на то, что этот вид спорта не исключает опасности. Но опасность здесь преодолевается умением, волей и, прежде всего и раньше всего, соблюдением всех необходимых правил.

Опасность при восхождении на вершину «Семенов-Баши» возникла потому, что Тищенко нарушил хорошо известные ему элементарные правила восхождения.

Но, может быть, Попова должна была предвидеть, что Тищенко нарушит эти элементарные правила? Нет, она не должна и не могла это предвидеть.

Позвольте эту мысль проиллюстрировать примером.

Само собой разумеется, что прыжки с парашютом могут быть опасными. Для безопасности молодым парашютистам кольцо парашюта привязывают ремнем к руке. Делают это для того, чтобы в случае, если моло-

дой парашютист, совершая свой первый прыжок, растеряется и забудет дернуть за кольцо, он все равно не погибнет: резервное кольцо привязано к его руке, а разводить руками он будет совершенно инстинктивно и тем самым раскроет парашют.

Но если при массовом прыжке один из парашютистов, зная, для чего привязывают кольцо к руке, потихоньку развяжет ремень, связывающий кольцо с рукой, прыгнет и погибнет — разве кому-нибудь придет в голову привлекать за это к ответственности инструктора, разве возникнет мысль, что инструктор не сделал всего, чтобы предотвратить несчастный случай?

Так и Попова не могла предусмотреть, что Тищенко, отлично зная, что «живой» камень трогать нельзя, все же до него дотронется. Не могла, никак не могла Попова предусмотреть, что Тищенко, отлично зная, что нельзя снимать страховку до тех пор, пока Лиля не дойдет до места и пока он не получит команды двинуться вперед, все же пойдет раньше времени, подвергая опасности себя и своих товарищей. Тем более, что не кто иной, как сам Тищенко, передавал команду Поповой: «Возле желоба „живой“ камень. Не трогать его!», «Без команды не двигаться с места!»

Попова шла вне связки, и в этом нет ее вины.

Попова избрала путь иной, чем тот, которым шел Волькенштейн, и в этом нет ее вины.

Андрей Тищенко начал переходить желоб раньше времени и сдвинул с места «живой» камень, и в этом нет вины Поповой.

Погибли Лилия Смирнова и Андрей Тищенко. Не оскорбит ли просьба оправдать Попову чувства их родителей, чувства, достойные величайшего уважения?

Я думаю, что не меньшего уважения, чем их горе, заслуживают и другие их большие, широкие и достойные чувства советских людей. Я убежден, что и родители Лилии Смирновой и родители Андрея Тищенко не испытывают чувства мести. Они прослушали весь процесс, и они не захотят, чтобы невинные были осуждены.

Я думаю, что оправдательный приговор той, кто виновен в гибели их детей, будет ими воспринят как доказательство глубокого уважения и к их горю, и к светлой памяти их детей.

Обращаясь с просьбой оправдать Попову, я прошу



это сделать не только ради нее. Это дело не может не получить отклика. Своим приговором, товарищи судьи, вы с предельной четкостью должны сказать, что молодые альпинисты должны быть окружены всяческой заботой, заботой всесторонней и полной. Но молодые альпинисты должны понимать, что резкое и грубое нарушение дисциплины не может даже при самой большой заботе предохранить их от опасности.

Если в приговоре будет сказано, что Тищенко сам виноват в своей смерти, то это заставит каждого молодого альпиниста, каждого молодого советского спортсмена понять, еще раз продумать, еще острее прочувствовать, что только полное, безоговорочное, не знающее отступлений выполнение правил и соблюдение дисциплины могут создать безопасность.

Даже самый опытный, самый умелый и самый заботливый инструктор ничего не сможет сделать, если тот, кого он ведет, будет неосторожно и беспечно нарушать дисциплину.

Я кончаю. В тех характеристиках, которые имеются в деле, в тех отзывах, что давали здесь свидетели о Поповой, говорилось о ней не только как о хорошем учителе, воспитателе, враче, но и как о верном друге тех людей, чьи жизни были вверены ей.

Многие годы отдала Попова спорту, врачеванию, воспитанию девушек и юношей. Для Поповой не наказание страшно. Для нее самое страшное, если приговор отнимет у нее право сказать: «На моей совести нет человеческих жизней».

Я прошу вас оправдать Попову.

# ДЕЛО ЛЕВЧИНСКОЙ

## УБИЙСТВО ИЗ РЕВНОСТИ

Н. П. Левчинская была предана суду по обвинению в убийстве Мохова из ревности по ст. 136 УК РСФСР 1926 г.

Суд, признав, что Левчинская убила Мохова не из ревности, а в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного тяжким оскорблением, переквалифицировал обвинение на ст. 138 УК РСФСР и приговорил Левчинскую к 3 годам лишения свободы.

### *Товарищи судьи!*

В деле имеется фотоснимок убитого Мохова. На снимок нельзя глядеть без содрогания. Ударами утюга раздроблены нос, глаза, лоб. И это сделала Надежда Петровна Левчинская — молодая, невысокая, на вид хрупкая женщина и, как сказано в характеристике, «музыкант, отмеченный тонким вкусом и высоким мастерством исполнения».

Чтобы совершить это страшное дело, чтобы так убить человека, какие нужны бури в человеческом сердце, какой необыкновенной силы должны быть побуждения! Обвинительное заключение нашло их и назвало: ревность! Это она толкнула Левчинскую на убийство.

Но, сказав «ревность», следствие остановилось на полдороге. К кому ревновала Левчинская? Что заставило ее 26 декабря, в день убийства, испытать такой непомерной силы взрыв ревности, который мог бы объяснить то, что она сделала?

У нас есть возможность проследить минуту за минутой все события этого вечера 26 декабря — последнего вечера в жизни Мохова.

26 декабря покойный Мохов вместе с Левчинской был в гостях у своих друзей Соловьевых. Кроме них у Соловьевых никого не было. Сами Соловьевы — люди пожилые, связанные многолетней дружбой с Моховым; для ревности к Соловьевой у Левчинской не было никаких оснований. Соловьева на 20 лет старше Левчинской, она не давала и не могла дать повода к ревности. Хозяева и гости вели, по словам Соловьевых, дружескую и оживленную беседу. Основной темой разговора была предстоящая встреча Нового года. Мохов внес пай за себя и Левчинскую, сказав при этом весело и шутливо: «Вот как плохо быть женатым, приходится вносить два пая вместо одного».

Здесь, на суде, Соловьева, с обычной женской чуткостью, говорила: «Шутливая жалоба Мохова была явно приятна Левчинской, — он не только перед ней, но и перед нами признавал ее своей женой».

Затем Мохов и Левчинская ушли домой. Это было после полуночи.

Придя домой, Мохов надел халат. На стол была поставлена бутылка вина. Он налил себе и Левчинской по бокалу (они так и оказались недопитыми), и тут, в мирной беседе, он произнес фразу, после которой Левчинская схватила утюг и ударила им Мохова.

Что же Мохов сказал? Вот они, эти его слова: «Я передумал. Ты корми ребенка не до года, а только до 10 месяцев, а затем убирайся вон со своим поскребышем».

Как видите, в течение всего вечера не то чтобы какая-либо женщина, но даже женское имя, даже тень женщины не прошла между Моховым и Левчинской. В течение всего дня и вечера 26 декабря ничто не дало никаких оснований не только утверждать, но даже предполагать, что могла вспыхнуть, разгореться ревность и стать настолько нестерпимой и мучительной, что с нею уже не совладать Левчинской.

Ведь не случайно обвинение так и не ответило на вопрос, на который нельзя было не дать ответа: к кому же ревновала Левчинская? К кому?

Не дав ответа на этот вопрос, быть может, обвинение в состоянии ответить на другой: почему именно 26 декабря ревность приняла такую острую и страшную форму, что толкнула на убийство? Нет, обвинение при-

знает, что у него и на этот вопрос нет ответа; да его и не может быть, ибо само объяснение убийства ревностью — объяснение несостоятельное. Нет, не ревность толкнула Левчинскую на убийство.

Что же вело руку Левчинской, когда она электрическим утюгом испуленно дробила череп уже убитого ею Мохова? Левчинскую об этом незачем спрашивать. Она не скажет. Не потому, что не хочет, не потому, что скрывает что-либо или замалчивает. Не скажет потому, что не может сказать, не умеет. Левчинская здесь давала вам объяснения, и вы помните, как она несколько раз прерывала свой собственный рассказ словами: «Боже мой, какая все это неправда!» Не разобраться ей в том, что было у нее на сердце! Она только знает, что слова ее беспомощны, жалки и в них нет той правды, которую она ощущает, а выразить не может. И вы помните, как она, когда показания были закончены, уже собираясь сесть, сама, удивившись, сказала: «Как бедно все то, что я говорю».

Я думаю, вы мне позволите, товарищи судьи, свою задачу видеть не только в том, чтобы раскрыть перед вами подлинные мотивы преступления Левчинской, но и в том, чтобы ей, этой глубоко несчастной женщине, объяснить, что же произошло в тот вечер, почему мирно стоявший до этого электрический утюг стал орудием кровавого дела.

Надежда Петровна Левчинская, 22 лет от роду, только что закончив консерваторию, вышла замуж за Грабина. В деле имеется несколько писем Грабина, есть отзывы о нем его товарищей по работе. И воссоздать его облик не так уж трудно. Грабин — холодный, педантичный, всегда и всем недовольный человек, на много старше Левчинской. Она стала его женой, но никогда не была ни его другом, ни любимой женщиной. Она жила терпеливо и безропотно, — нет, это не те слова, — она замерзала возле Грабина. Она не жаловалась, она покорилась судьбе, ни на что не сетуя.

Но вот родился сын Юра. Она растила его, отдавая ему всю свою нерастраченную нежность, и в 24 года ей казалось, что можно обойтись без того, что называют «личной жизнью». Так прошло несколько лет. А два года назад в маленьком дачном поселке, куда она вывезла на лето сына, Левчинская случайно познакоми-

лась с Моховым, отдохавшим там же. Мохов — начальник управления по делам искусств, ему подчинены все театры области. Но ни должность Мохова, ни его блистательное положение не затронули бы ни воображения, ни сердца Левчинской. Мохов нашел, чутьем нашел к ней путь.

Свидетельница Соловьева, друг Мохова, очень хорошо относившаяся к нему и искренне жалеющая его, сказала следователю:

— Мохов был великий мастак ухаживать за женщинами.

Мохов был нежен с Левчинской, он был мягок, ласков с ней и предупредительно заботлив. Надежда Петровна, в течение всей своей жизни с Грабиным не знавшая ни ласки, ни внимания, воспринимала эту заботливость и ласковость Мохова как нечто необыкновенное, как свидетельство такой тонкой душевной организации, такого чудесного окрыленного сердца, что Мохов стал казаться ей человеком исключительным.

Но, теряя способность сопротивляться этим настойчивым и умелым, хорошо прикрытым ласковостью домоганиям Мохова, она оставалась человеком, не умеющим дробить своих чувств. Левчинская, мучаясь, казня себя за то, что она огорчит Грабина, едет к нему в Иркутск, где он гастролировал, чтобы сказать ему правду о своем чувстве к Мохову, чтобы просить его о разводе. Вы знаете, как поступил Грабин. Он сказал ей: «Только ты можешь придавать такое большое значение такому пустяку» — и тут же дал согласие на развод. И тогда свободная, счастливая от сознания, что ей не нужно делить своего чувства, она возвращается в Ленинград к Мохову, навстречу своей судьбе.

Мохов в это время также готовится к встрече с Левчинской. Мохов, который сам о себе говорил: «Я меньше всего семьянин, я человек настроения», этот Мохов по-своему готовился к встрече с Левчинской. Он просил тех, кто близко его знал по Смоленску, где он раньше жил, не рассказывать Левчинской, что он женат и что его жена проживает в Смоленске.

Я не знаю, есть ли более убедительные доказательства чистоты чувств Левчинской, чем тот обман, к которому прибег Мохов. Если бы и Левчинская была «человеком настроения», если бы и она могла сказать о себе

словами Мохова: «Я меньше всего создана для семейной жизни», то зачем было бы Мохову ее обманывать?

Когда люди сходятся для случайных встреч, когда развивается пошлая интрижка, то «достойные партнеры» не справляются друг у друга, каково их семейное положение. Только тогда, когда знаешь, что женщина смотрит на сближение как на крепчайшую связь двух сердец, как на тесный союз двух жизней, тогда такому человеку, как Мохов, приходится женщину обманывать, тогда нужно сказать, что у него нет жены. Мохов обманул Левчинскую потому, что она была строга в своих чувствах, потому, что, не умея делить себя, она верила, что таков и Мохов.

Проходит несколько месяцев, может быть, самых счастливых в жизни Левчинской. Возле нее любимый человек, он ее избранник, она горда им, она помогает ему в его делах. Мохов говорит, — и это удостоверено свидетелем Никритиным, — что он желает стать отцом. Левчинской радостно, что Мохов думает о крепкой и хорошей семье.

Наступает день, когда Левчинская делится радостью с Моховым, говорит ему, как о тайнстве, что она должна стать матерью. И слышит от Мохова: «Если ты беременна, то не от меня, так как в прошлых связях от меня женщины не беременели!» Левчинская ничего не отвечает. Да и что ей сказать в ответ на это непосильное для женского сердца, невыносимое для женской чести оскорбление?

Но Левчинская любит Мохова. Она помнит, каким он был мягким, ласковым и заботливым, ей нелегко осудить его. Она ищет возможности оправдать его в своих собственных глазах и... она оправдывает его.

После долгих и нелегких раздумий она приходит к нему и говорит: «Как страшно родить ребенка, зная, что ты будешь сомневаться. Тогда мне и ребенок не нужен. Я сделаю аборт».

Я не знаю, что заставило Мохова сказать то, что он сказал, но как бы то ни было, он сказал: «Роди мне сына». И случилось так, как сказал Мохов.

Левчинская возится с маленьким ребенком, поднимает старшего. А в это время Мохов только «заправляет» в искусстве, впитав в себя отрицательные черты богемы, но ничего не восприняв от подлинного творче-

ства, от высокого труда в искусстве. Часто повторяя словечки вроде «не в том ракурсе» или «не совсем в образе», Мохов полагает, что именно это и означает творить. И вот этот «жрец искусства», извольте видеть, почувствовал, что ему нечего делать в доме, где висят пеленки и временами раздается детский крик. Он стал по неделям исчезать из дому. Свидетели Семенова и Ильина показывали, как на первых порах, не зная покоя, замученная страхом, Левчинская звонила знакомым и спрашивала: «Не у вас ли Мохов? Его нет дома, и я не знаю, где он».

Но потом она поняла, что если Мохов не приходит, то отнюдь не потому, что ему грозит опасность. Она поняла, что за Мохова ей в этих случаях тревожиться нечего. На суде ее спросили: испытывала ли она тогда ревность? Она ответила: «И ревность».

Да, это верно. Конечно, и ревность тут была. Но вместе с тем были и обида, и боль, и тревога, и, быть может, ропот уязвленной гордости!

И Левчинская, чувствуя, что уж очень унижительно то, чему ее подвергает Мохов, сказала ему об этом. Это вы знаете из письма, написанного самим Моховым. Левчинская сказала ему: «Я тебя так люблю, что у меня не хватает сил уйти от тебя. Но если ты сам уйдешь, у меня достанет женского достоинства и гордости, чтобы не ползти за тобой. Будь силен — ты ведь мужчина! — и уйди сам».

Нелегко далась Левчинской эта мольба. Но тут взыграло самолюбие Мохова. Как это так — от него, ну если не ушла, то пожелала уйти женщина? Нет! Этого не будет. И он по-прежнему то мучает ее разлукой, то терзает своим возвращением. И все же однажды Мохов сказал ей: «Я знаю причину, из-за которой мы плохо живем, почему у нас не ладится семейный мир».

Перед Левчинской блеснула надежда, что все будет хорошо, так пусть же он назовет причину. Она устранил ее, она обязательно устранил ее, она все сделает, чтобы семейный мир был налажен, она все сделает, чтобы любимый был возле нее.

И тогда Мохов говорит:

«Я не могу жить с тобой потому, что мне мешает твой ребенок от Грабина».

«Как, шестилетний мальчик?! Это он мешает? Но

что мне с ним делать? Ведь Грабин переехал на работу в Иркутск, у меня никого здесь нет, куда же мне деть шестилетнего ребенка?»

«Куда хочешь, но избавь меня от него» — таков ответ Мохова.

Вероятно, и сейчас Левчинской и больно, и стыдно, когда она сама себе напоминает о том, что она сделала. В ней женщина-жена взяла верх над матерью. Она исполнила волю Мохова. Она, что называется, собственными руками отдала Юрку, шестилетнего Юрку, «в люди», поместила «на жительство» — словечко-то какое! — к малознакомым людям, за несколько улиц от того дома, где она жила. И когда шестилетний Юрка изредка приходил в дом к матери, то они сидели и настороженно прислушивались — не раздадутся ли шаги Мохова. И хотя его не было, они ощущали его присутствие, он разъединял их.

Большей жертвы не могла принести женщина, большей любви не могла проявить. И что же, заметил ли, оценил ли это Мохов? Был ли он потрясен, увидев, что для него сделала Надежда Петровна? Нет. Он принял эту жертву так, словно это совсем пустяк, словно Левчинская переменяла по его просьбе прическу.

Жертва принесена, но жизнь не улучшилась. Если раньше Левчинская мучилась только из-за Мохова, то сейчас к этим мукам прибавились муки не менее тяжкие — муки за Юру. Вскоре заболел грудной ребенок. Время от времени ребенка навещала медицинская сестра. Она тоже была опрошена следователем и рассказала о той сцене, о которой так неохотно вспоминала Левчинская. Вспыхнула ссора, и Мохов тогда впервые сказал Левчинской: «Ты корми Сережу до года, ему нужно материнское молоко, потом я у тебя сына отберу, а тебя прогоню!»

То, что сказал Мохов, было настолько нестерпимым, что Левчинская не поверила, как можно такое сказать, как эти слова пришли ему на ум, как сердце могло подсказать их. Левчинская цеплялась за хрупкую, исчезающую надежду. Она сама себя убеждала: только в слепой ярости, только в диком разгуле злобы, когда уже сам себя не помнишь, только тогда такое можно выговорить.

Ведь бывает так, что в ярости мать кричит своему



ребенку: «Я убью тебя!» Но как далеко это «убью» до действительного намерения убить. Мохов это крикнул не помня себя, так думала Левчинская. Уж очень страшно было по-иному это объяснить. Нет, не могла она заставить себя поверить, что спокойный, обычно владеющий собой Мохов может так думать и такого хотеть. Так Левчинская объясняла себе эти слова Мохова. Она простила ему то, что он сказал, но не забыла. Не могла забыть.

И снова потекли дни тоскливого ожидания Мохова, дни ничем не вызванных и потому оскорбительных размовок и ссор, когда каждая издевка Мохова отзывалась удвоенной болью в сердце Левчинской. Она самой себе не говорила, но смутно ощущала: я все сделала, что могла, я отдала для этого самое дорогое, что было у меня, неужели этого мало? Неужели и это не будет оценено?

И вот приходят декабрьские дни. 26 декабря Левчинская и Мохов в гостях у Соловьевых. Мохов в хорошем настроении, он оживлен, острит, небрежно-ласков с Левчинской. Подумать только, сколько было действительно отвратительной оскорбительности в этой ласковости. Мохов — человек настроения. Он то мимоходом ласково потреплет Левчинскую по плечу, то погладит по волосам, не придавая никакого значения своим привычно ласковым жестам и ни разу не задумываясь над тем, как широко открывается сердце любящей женщины навстречу этим для него ничего не значащим ласкам. Если бы Левчинская могла понять, какой огромной, непомерно щедрой платой оплачивает ее сердце эти привычные, механические жесты Мохова, может быть, не случилось бы того, что произошло.

26 декабря. Вы помните, что было в этот вечер. Они возвращаются домой. У них снова все безоблачно. Доброе настроение Мохова не покидает его. Измученное сердце Левчинской немного отходит. Мохов в халате. Он чувствует себя уютно, спокойно, хорошо. Ничто не выводит его из равновесия. Он вежлив, он наливает вино не только себе, но и Левчинской... Может быть, даже наливает ей первой...

И тут наступает самое страшное. Добродушный, ласковый, каким мог быть только Мохов, спокойный, ничем не взволнованный, Мохов говорит Левчинской так,

как говорят о штопке носков: «Я передумал...» А Левчинская сидит возле него и, может быть, в это время еще улыбается ему, — ведь у них все сейчас хорошо.

«Я передумал, — говорит Мохов. — Ты корми ребенка не до года, а до десяти месяцев, а потом убирайся вон со своим поскребышем, с Юркой».

Она смогла простить, когда это было сказано в ярости. Но когда такое говорят спокойно, развалившись, в халате, с бокалом вина в руке?!

Не помня себя, потрясенная тем, что ей с беспощадной ясностью мгновенно открылось, потрясенная и оскорбленная его холодным цинизмом, тупым и унижительным бессердечием, почувствовав, как у нее отобрали все, чем она жила, Левчинская, не помня себя, схватила электрический утюг и ударила им Мохова, а потом била, била, пока сама не упала без чувств.

Здесь спрашивали, почему нанесено такое количество ударов, почему их так много? Если бы был нанесен один удар, можно было бы поверить — Левчинская помнила себя. Но именно потому, что их было много, непомерно много, мы можем с уверенностью сказать: она била потому, что уже не помнила себя. И боль, и ярость, и нестерпимые муки поднимали и опускали ее руку с электрическим утюгом.

Когда трагические события этой ночи нужно перевести на язык уголовного закона, то следует решить вопрос: каковы же побуждения, которым не смогла противостоять Левчинская?

Ее обвиняют в том, что она совершила убийство из низменных побуждений, из ревности, что она вела себя как собственник, что Левчинская говорила себе: «Мне не нужно ни сердца, ни любви Мохова. Он обещал быть со мной, и я заставлю его это сделать, а если он уйдет от меня по какой бы то ни было причине — даже если он полюбит другую, даже если скажет, что он с нею счастлив, — я все равно не пущу его, убью и никому не отдам». Таковы ли мотивы убийства? Такова ли Левчинская?

Нет! Перед нами женщина, которая стремилась к высоким, строгим и светлым чувствам, которая верила, что браки, заключенные в загсе, прочнее, святее и светлее тех, о которых говорили, что они заключаются на небесах.

Потому, что Левчинская была проникнута благородным представлением о любви, только потому так нестерпимо оскорбительно было ей то, что сделал Мохов. Не жадный собственник, а смятенное, замученное женское сердце, замученное грубостью, истерзанное жестокостью, оскорбленное чуждым нам низменным отношением, застонало, закричало: больше не могу!

Так кто же посмеет вот этот вопль женского сердца назвать низменным?

Но разве достаточно отбросить только низменные побуждения, чтобы правильно была определена природа того уголовного действия, в котором нужно обвинить Левчинскую? Разве мы вправе забыть то, о чем сказал эксперт? Заключение эксперта ясно и четко: Левчинская, совершая преступление, была в состоянии глубокого душевного волнения. Глубокое душевное волнение! Как жалки, беспомощны эти слова для выражения той непередаваемо страшной боли и муки, которые бушевали в душе Левчинской!

Но отнять у нее право на то, что и экспертом признано, не согласиться с тем, что Левчинская действовала в состоянии сильного душевного волнения, было бы необъяснимо и несправедливо. Это душевное волнение возникло внезапно. Вы знаете события вечера 26 декабря и не можете не признать внезапность возникшего волнения. И вы, знающие, почему это душевное волнение возникло, не можете не признать, что оно вызвано тяжким оскорблением.

Кто решится сказать, кто посмеет подумать, что обращение с матерью, как с прибором для кормления, — не оскорбление? Кто решится сказать, кто посмеет подумать, что человек, сказавший матери: «Корми до десяти месяцев, а потом убирайся вон», не нанес ей тяжкого оскорбления? Не я, а закон защищает Левчинскую и требует: нужно применить не 136-ю статью Уголовного кодекса, а 138-ю.

И последнее, что я должен сказать. Во время судебного следствия товарищ председательствующий спросил Левчинскую, почему она не сразу заявила об убийстве, а ждала, пока за нею придут. Левчинская промолчала, словно не поняла вопроса. А потом очень тихо и задумчиво сказала:

— Я пошла к своему Юре. Пошла с ним проститься.

Я сидела возле него и думала: «Я его вижу в последний раз в жизни. Как я могу отобрать у него эти последние несколько часов?»

Надежда Петровна прощалась с Юрой, думая, что она видит его в последний раз в жизни. Она не очень хорошо знает, что ее ждет, она не знает, какой будет приговор.

Думаю, что это ее и не очень волнует. И по совести и по правде говоря, что суд может прибавить к тому горю, которое обрушилось на Левчинскую? Оно стоит за ее спиной неотвязно, неотступно. И нет сил, чтобы помочь Надежде Петровне. Кто же может оторвать ее от нее самой? Что может быть горше для нее, чем оставаться с самой собой? И единственно, что вы можете сделать, товарищи судьи, это ту трудную долю, что досталась Левчинской, не отягощать вашим приговором. Мягкий приговор не облегчит судьбы Левчинской, но он покажет ей, что вы поняли, как трудно ей было раньше и как невыносимо тяжело ей теперь.

# ДЕЛО ГЕРКИНА

## КРУПНОЕ ХИЩЕНИЕ

В. Г. Геркин работал начальником отдела сбыта пивоваренного завода в Ленинграде. На заводе было обнаружено хищение пива в особо крупных размерах.

Способов хищения было несколько, но в основном они сводились к уменьшению в отчетности количества действительно отпущенного для реализации пива. Скрытое от учета пиво продавалось работниками торговли, вступившими в преступный сговор с должностными лицами завода, а выручка от продажи делилась между соучастниками хищения.

Геркин был предан суду по обвинению в том, что он вместе с главным бухгалтером завода являлся организатором хищения.

Дело слушалось в Ленинградском городском суде.

Суд, исключив некоторые пункты обвинения, признал Геркина виновным в хищении суммы, значительно меньшей по сравнению с указанной в обвинительном заключении, и приговорил его к лишению свободы на минимальный срок, предусмотренный законом.

### *Товарищи судьи!*

Когда конечные выводы обвинения и защиты полярны, то, казалось бы, легко может возникнуть недоумение, о котором еще в прошлом веке писал известный бельгийский юрист Пикар в своем «Парадоксе об адвокате»: по обе стороны судейского стола стоят два юриста, оба житейски и профессионально опытные, оба наделенные специальными познаниями, оба совершенно добросовестные... Почему же каждый из них искренне

и убежденно по поводу одних и тех же фактов отстаивает взаимно исключаящие взгляды?

Нетрудно понять, что такие вопросы носят риторический характер, что здесь делается попытка выдать за неразрешимую проблему то, что никакой проблемой не является. В самом деле, когда решается вопрос исключительного значения — вопрос о судьбе человека, то наше живое, горячее чувство справедливости настойчиво требует: судьба человека должна быть решена так, чтобы возможность ошибки была исключена, чтобы даже малейшая неточность не могла прокрасться в решение. А для этого есть только одно средство, другого не выдумаешь: ни одно доказательство, ни одно, каким бы оно ни казалось убедительным, не должно приниматься на веру; оно должно подвергаться разумному и добросовестному сомнению, каждое утверждение должно быть проверено — а не скрыта ли в нем слабинка? — и только тогда, когда доказательство выдержит проверку сомнением, его можно положить в основу решения, в основу приговора.

Пусть пройдут перед судом боевым порядком доводы обвинения, пусть защита противопоставит им все то, что может в пределах закона пойти на пользу подсудимому, и только тогда можно с удовлетворением сказать: суд располагает всем, чтобы сделать разумный и справедливый выбор, возможность одностороннего разрешения дела исключена, для верного решения, как говорят математики, сделано все «необходимое и достаточное».

В деле Геркина неизбежен спор между обвинением и защитой. Вступая в него, защита сознает, что судебный спор — не словесный поединок. Ведь решение дела зависит совсем не от взлетов красноречия! Поэтому, возражая обвинению, я не стану словесным щитом закрывать доводы противника, я попытаюсь их представить в наиболее концентрированном, пожалуй, даже наиболее грозном виде. Пусть я буду избавлен от упреков, что, излагая доводы противника, уменьшаю подлинную их значимость.

Геркину вменяется в вину хищение многих тысяч рублей. При столь тяжком обвинении, казалось бы, исключается предположение, что оно не имеет под собой несокрушимых доказательств.

Рассмотрим эти доказательства. Геркина изобличает сама система работы. Геркин был начальником отдела сбыта. Все преступные операции связаны со сбытом пива. Не один, не два — пятнадцать человек были замешаны в них. Начальник отдела сбыта мог не видеть преступлений только в одном случае: если он сознательно на это закрывал глаза, но закрывал так, чтобы они, зажмуренные, могли видеть, какая уйма денег плыла к нему. Сама структура работы отдела сбыта была такова, что без Геркина нельзя было совершать преступлений. Он был необходимой составной частью преступных махинаций, которые там совершались. Без начальника отдела сбыта ничего не мог бы сделать и главный бухгалтер, как, впрочем, не мог бы ничего сделать и начальник отдела сбыта без главного бухгалтера. Если Геркин и Будько — мотор и приводной ремень, то порознь взятые — это кусок ржавого железа и сморщенный обрезок кожи, а вместе — это механизм большой мощности.

Достаточно установить, что без Геркина не могли совершаться преступления, что он должен был быть осведомлен обо всех преступлениях, что между ним и другими преступниками существует неразрывная связь, — достаточно это установить, чтобы тем самым обвинение получило крепкую и твердую основу.

Что же, нужно признать, что этот довод обвинения — довод сильный и убедительный. Мы запомним его: Геркина уличает система работы.

Но товарищ прокурор на этом не останавливается. Он приводит новые, казалось бы неопровержимые, доказательства, прямые доказательства вины Геркина.

Геркин заверял, что он не знал о хищении накладных и не имел к нему никакого отношения. Но ведь деньги изымались только путем хищения накладных. А вот подсудимая Рычкова опровергает Геркина и уличает его. Она заявляет, что Геркин брал у нее накладные и уничтожал их.

Круг замкнулся! Не только система работы устанавливает вину Геркина, но имеются и показания Рычковой об участии Геркина в преступлениях. И когда она их дает? В последнюю минуту, в последний момент судебного следствия. Вот-вот кончится оно, еще одна минута, и у Рычковой исчезнет возможность рассказать

правду о преступлениях Геркина, но тут она не выдержала и рассказала правду о Геркине.

Но обвинение как бы говорит: будем требовательны к себе, не удовлетворимся только одними показаниями Рычковой. Проверим, нет ли еще прямых доказательств. И обвинение обнаруживает и приводит их. Товарищ прокурор утверждает: если Рычкова в последнюю минуту признала, что Геркин изымал документы, то нашелся и такой обвиняемый, который сразу же, еще не искушенный, не привыкший к допросам, не успевший еще, сидя в тюрьме, исхитриться, изловчиться, на первом же допросе показал: Геркин принимал участие в преступных операциях с накладными.

Фамилия этого обвиняемого Филиппов.

Итак, система уличает Геркина. Прямые доказательства налицо и подкрепляют первоначальный вывод о том, что преступления не могли совершаться без Геркина. Вы слышите грозную поступь обвинения: система и прямые доказательства.

Мало системы, недостаточно прямых доказательств — цепь косвенных улик, говорит обвинитель, устанавливает виновность Геркина.

На заводе агенты по снабжению выстраиваются в очереди за получением пива. И неизменно одни и те же счастливицы, казалось бы по непонятной прихоти Геркина, получают пиво вне всякой очереди. А когда проверили, кто же эти «счастливицы», то выяснилось, что по странному совпадению (а совпадение ли это только?) они оказались теми самими агентами, чьи накладные потом уничтожались. Не значит ли это, что Геркин для своих соучастников создавал облегченные возможности вывоза пива? Не значит ли это, что вместо «Сезам, отворись!» соучастники говорили: «Вместе украдем» — и тогда двери подвала открывались и пиво выдавалось вне очереди?

Незначительное обстоятельство — получение пива вне очереди, но, приведенное в связь со всей системой работы, оно превращается в грозную улику против Геркина.

Чтобы скрыть хищение пива, нужно или уничтожить накладные, или внести в них исправления. И для того и для другого нужно иметь их в своих руках. И Геркин заводит весьма своеобразный порядок: каждую ночь он



забирает накладные к себе домой. Все остальные документы во всех остальных отделах остаются на заводе, и только накладные, те самые, без изменения которых нельзя совершить преступление, Геркин забирает каждый вечер к себе домой. Разве это не свидетельствует также о его преступном замысле?

Итак, Геркина уличают не только система работы, не только прямые показания о том, что он уничтожал накладные. Рядом с этими доказательствами возникают и косвенные улики и приобретают зловещее для Геркина значение.

И еще одним доказательством располагает обвинение, и оно выдвигает его. На заводе составлялись ведомости отгруза. В них указывалось, кому и сколько пива ежедневно отгружал завод. Проверка показала, что в ведомости отгруза систематически, изо дня в день не вносились сведения о пиве, которое хотя и отгружалось, но не включалось в счета покупателей и, следовательно, похищалось. И на всех ведомостях, как каиново пятно, проступает одна и та же подпись: Геркин, Геркин, Геркин...

Итак, система уличает. Прямые доказательства разоблачают. Косвенные доказательства подкрепляют вывод о виновности Геркина. Куда деться?

Я обещал не ослаблять доводов противника. Я закончил изложение обвинений против Геркина и вправе сейчас сказать: если я упустил хотя бы самый незначительный из доводов обвинения или если я изложил хотя бы один из его доводов с неподобающей силой, товарищу прокурору предоставляется право в реплике поправить меня. Если этого не будет сделано в реплике, то тогда следует прийти к выводу, что доводы обвинения изложены мною полно и точно.

Позвольте мне проверить крепость и обоснованность каждого из доводов обвинения.

Основное обвинение — система уличает Геркина. Это обвинение построено в форме силлогизма: все преступления совершались в отделе сбыта; начальник отдела сбыта, зная все, что делается в отделе, знал, следовательно, обо всех преступлениях.

Но силлогизм — не самое веское из всех доказательств, особенно, если обе его посылки едва ли могут претендовать на бесспорность. Первая посылка — «все

преступления совершались в отделе сбыта» — опровергается без большого труда. Достаточно обратиться к обвинительному заключению и станет очевидным — преступления совершались не в отделе сбыта, преступления совершались в главной бухгалтерии, которая является независимой от отдела сбыта и к которой Геркин никакого служебного отношения не имел. Но если неверна первая посылка, то неверен и весь силлогизм.

Но я не стану защищать Геркина, опираясь на формальную логику. Важно ведь другое: важно утверждение, что между Геркиным и остальными соучастниками хищений на заводе была тесная неразрывная связь, что без Геркина совершать преступления было невозможно. Вот в этом утверждении — подлинная сила обвинения, и оно нуждается в проверке.

На заводе похищено пива на многие тысячи рублей. Здесь возглашалось, что без Геркина эти хищения были бы невозможны. Обратимся к материалам следствия, к их конечному выводу — к обвинительному заключению, к речи товарища прокурора. В обвинительном заключении утверждается и товарищ прокурор считает доказанным: хищение почти двух третей всего пива, украденного с завода, совершено Рычковой, Соколовой и Самойловой. Из всей суммы похищенных средств две трети похитили эти три женщины. В этом их обвиняют, в этом товарищ прокурор просит вас признать их виновными. Рычкова, Соколова и Самойлова и сами признают себя виновными в хищении пива на эту сумму. Многократно допрошенные, они заявляют, что, кроме их троих, никто в этом хищении участия не принимал, что Геркин ничего не знал об их преступлении и не мог знать, ибо это было совершено с помощью бухгалтерских операций, к которым Геркин не имел никакого отношения. Эти их показания признают правдивыми и автор обвинительного заключения, и товарищ прокурор.

Следовательно, возможен только один вывод: почти две трети всех похищенных сумм расхищены без участия Геркина. Итак, утверждение обвинительной власти, что без Геркина невозможно совершение преступления, что без его участия и ведома ни один литр пива не исчезает с завода, — это утверждение получило пер-

вую трещину. Конечно, было бы явным преувеличением считать, что уже сейчас получены доказательства, опровергающие обвинение. Нет, обвинение не рухнуло. Но следует запомнить, что если заявление о том, что сама система совершения преступления изобличает Геркина и является первоосновой для обвинения, то в этой основе зазмеилась первая трещина от края и до края, но только первая трещина.

Обвинительное заключение и товарищ прокурор считают доказанным, что другие подсудимые — Белякова, Качасова и та же Рычкова — тоже похитили большую денежную сумму. Все трое — работники бухгалтерии, и они признали себя виновными в хищении. Многократно опрошенные, они заявляли с полным единодушием, что Геркин не имеет никакого отношения к их хищениям, что он не только не принимал в них участия, но не был о них осведомлен, да и узнать не мог, так как они совершались в бухгалтерии. Товарищ прокурор, обвиняя Белякову, Качасову и Рычкову, доказывал, что они совершили преступление самостоятельно. Итак, вновь признается, что без Геркина могли совершаться и совершались хищения на заводе. Мы не забудем этого утверждения товарища прокурора.

Итак, выходит, что из каждых 100 рублей 70 похищены не только без участия, но и без ведома Геркина. Не кажется ли теперь, что не столь уж категорично и убедительно звучит утверждение, что без Геркина невозможно было на заводе совершать преступления?

Но еще не пришло время для окончательных выводов. Я прошу вас только запомнить, что если система — это основа обвинения Геркина, то в этой основе появилась вторая трещина, очень недалеко от первой и тоже идущая от края и до края.

Не будем торопиться с выводами. Может быть, фундамент с трещинами и годный фундамент, кто знает? Пока мы только запомним, что трещины в нем имеются.

Но существует еще один бастион обвинения — это указание на то, что Будько не совершал преступлений без Геркина и не мог их совершать.

Если, мол, даже и допустить, что Белякова, Качасова и Рычкова могли расхищать пиво без участия Геркина, то главный бухгалтер Будько не мог самостоятельно совершать преступления, и он-то совершал

их обязательно с участием Геркина, и между ними была нерасторжимая связь.

Я до сих пор пользовался доказательствами, которые товарищ прокурор считал бесспорно установленными. Я брал их из обвинительного заключения и речи прокурора.

Позвольте мне и по этому пункту обвинения — по обвинению в том, что связь между Будько и Геркиным нерасторжима, что Будько не мог совершать преступления без Геркина — пользоваться теми же источниками. Я обращаюсь к обвинительному заключению и читаю: Будько вменяется то, что он с Булатовым вдвоем — только вдвоем! Без Геркина! — похитили пиво и деньги поделили между собой. Сразу приходит в голову мысль: здесь допущена ошибка! Читаю внимательнее. Нет, действительно, Будько с Булатовым, без Геркина. Тогда вспоминаю обвинительную речь. Да, в ней было сказано: Будько виноват в том, что он вместе с Булатовым, без Геркина, похитили пиво и поделили между собой деньги.

Не всех слушателей оратор может убедить в одинаковой мере, но одного человека он обязан убедить — это самого себя. Если утверждается, что Будько совершил преступление с Булатовым, без Геркина, то как же можно после этого призывать вас поверить в то, что Будько не мог совершить преступлений без Геркина и что их связь нерасторжима?

Но, может быть, случай с Булатовым — случай единственный, может быть, других доказательств расторгимости этой связи нет, может быть, во всех остальных преступных эпизодах доказано соучастие Будько и Геркина?

Обращаюсь вновь к обвинительному заключению. Читаю: «Будько обвиняется в том, что он вступил в преступную связь с Аграновым и они совершили хищение и поделили деньги между собой».

Как, опять без Геркина? Ну, на этот раз прокурор, конечно, найдет способ исправить этот пункт обвинительного заключения, он докажет, что Геркин принимал участие в этой сделке, ибо если он этого не докажет, то отпадет последняя возможность доказать, что без Геркина нельзя совершать преступлений. И я слышу, как товарищ прокурор говорит: установлено,

что Будько принимал участие в преступной сделке с Аграновым. Без Геркина.

Итак, установлено, что все работники бухгалтерии, начиная с главного бухгалтера Будько и кончая кассиром Качкасовой, совершали преступления без Геркина, помимо него и без его ведома. Это установлено обвинительным заключением, установлено следственными материалами, представитель обвинительной власти просит вас записать это в приговоре, и все же он говорит: несмотря на то что вы все это напишете в приговоре, вы все же признайте, что без Геркина они не смогли совершать преступления!

Не пора ли сказать: утверждение о том, что сама система изобличает Геркина, это утверждение, говоря в самой осторожной форме, — расшатывается! Я не скажу — опровергнуто. Не скажу потому, что для этого еще наступит время.

Пиво расхищалось различными приемами и способами. В обвинительном заключении все они перечислены. Их восемь. Семь из них Геркину не вменяются. Значит, не только не доказана связь с Геркиным, но не установлена даже осведомленность Геркина об участниках и методах совершения преступления.

Но и не это соображение наносит завершающий удар столь торжественно и категорически преподанному заявлению о том, что сама система изобличает Геркина.

Геркин по этому делу поставлен в счастливое положение: он может не ограничиться заверениями, что его виновность не доказана. Он может привести доказательства своей невиновности!

В течение семи месяцев совершались преступления на заводе, а накладные, которые могли бы раскрыть хищения, уничтожались, и преступникам казалось, что они «опустили концы в воду». Тем не менее преступления раскрыты и доказаны документально. Что это за документы, с помощью которых раскрылось преступление? Это книга экспедиции и книга пропусков. Где велись эти книги? В отделе сбыта. Кто следил за тем, как ведутся книги? Геркин. Чьи подчиненные вели эти книги? Геркина. В чем отделе эти книги сохранились? В отделе Геркина. Все документы в отделе бухгалтерии, где работали Будько, Рычкова, Белякова, Качкасова, — все эти документы исчезли, все они уничтожены,

заботливо, тщательно, так, что и следа не осталось, а все документы, полностью изобличающие виновников, точно устанавливающие размер хищений, все документы до единого, в безупречной сохранности остались целехонькими в отделе экспедиции, в отделе, подчиненном Геркину.

Если бы Геркин принимал хотя бы малейшее участие в преступлении, то почему же он не сделал того, что сделали его соучастники? Почему Будько и другие, по утверждению обвинения, уничтожили все документы в отделе бухгалтерии и почему не уничтожен ни один документ в отделе экспедиции? Если бы было соучастие, то, очевидно, преступники прибегли бы к одинаковым методам сокрытия преступления, одинаково уничтожали бы документы, не оставляли бы грозных и неотвратимых улик.

Товарищ прокурор понимает, очень хорошо понимает всю силу этого доказательства, и он сам себя спрашивает: «А почему Геркин сохранил документы?» И ставя перед собой этот действительно большой важности вопрос, товарищ прокурор отвечает на него: «Геркин не успел их уничтожить». За семь месяцев не успел уничтожить! До февраля не успел он уничтожить июльские документы. До февраля! Он, который одним из первых узнал, что намечается ревизия, не успел уничтожить! Пусть простит меня товарищ прокурор, но этот ответ невозможно признать убедительным. Или надо объяснить, почему Геркин не скрывал следов преступления, почему он заботливо оставлял в полной сохранности грозные улики, зная, что их ищут и найдут, или надо признать, что Геркин потому не скрывал следов преступления, что не знал о преступлениях, непричастен к ним и вел себя так, как должен вести себя честный человек.

Обвинение располагает еще прямыми доказательствами вины Геркина; ведь имеются показания Рычковой. Товарищ прокурор сам счел нужным напомнить, что на предварительном следствии Рычкова восемь раз давала показания и что все эти показания не совпадают между собой, что они непримиримо противоречивы, что одним показанием она опровергает другое. Товарищ прокурор напомнил также, что и здесь, в суде, Рычкова давала различные показания. Она то признавала себя

виновной, то не признавала, то вновь признавала. Она меняла показания не только тогда, когда речь шла о ней самой. Многократно опрошенная на суде и товарищем председательствующим, и товарищем прокурором, и защитой, она утверждала, что Геркин не изымал накладных, утверждала многократно. А в последнюю минуту судебного следствия она заявила, что Геркин взял накладные, чтобы уничтожить их.

Кто решится сейчас поставить в вину Рычковой противоречия в ее показаниях? Товарищ прокурор потребовал для нее самого сурового из всех возможных наказаний. Будем верить, что Рычкова не услышит самого страшного, что может услышать живой человек. Но как бы то ни было, эта женщина, у которой есть маленький ребенок, знает, что ей в лучшем случае грозят долгие годы лишения свободы, а иногда, пусть ненадолго, но все же ее охватывает страшная, просто невыносимая мысль: «А вдруг требование прокурора будет удовлетворено?» Вот эта женщина и мечется в мучительном страхе, в тяжком отчаянии. По-человечески это так понятно! И если Рычкова временами, стремясь смягчить свою участь, упрашивает поверить, что не она, нет, не она инициатор, что другие толкнули ее на преступления, если Рычкова в лихорадочных поисках спасения прячется за спину то одного, то другого, — разве можно говорить об этом с яростью? Кто решится бросить в нее камень упрека во лжи? Но кто решится сказать и другое: ей можно безоговорочно верить. Ей можно простить неправду, но нельзя же делать так, как поступает товарищ прокурор. Он говорит: «Рычкова дала девять различных показаний. Восьми показаниям не верю, потому что они благоприятны для Геркина, а вот девятому верю, так как оно неблагоприятно для Геркина».

Защита не станет прибегать к такому методу. Можно было бы ведь так сказать: товарищи судьи, есть восемь показаний, благоприятных для Геркина, и есть девятое показание, неблагоприятное для него. Поверим тем, которых больше.

Думается, что прибегать к такому методу оценки показаний было бы неправильно. Если человек по своему душевному состоянию не в силах сказать правду, то как ее отыскать? Есть единственный способ для этого: проверить его показания с помощью объективных дан-

ных. Ведь нельзя же расценивать показания по принципу: это мне по вкусу, — значит, это правда, или это мне не по нраву, — значит, неверно.

Тут не поможет и ссылка на то, что показания, которым приглашает верить товарищ прокурор, последнее по времени. Если встать на эту точку зрения, то сейчас же выявится обстоятельство, весьма благоприятное, но не для обвинения, а для защиты. Как вы помните, после того как Рычкова признала в конце судебного следствия, что Геркин изымал накладные, ее спросили: «Рычкова, где вы показывали правду — здесь или на очной ставке?» И она ответила: «На очной ставке говорила правду!» На той самой очной ставке, где она показала: «Геркин накладные не изымал». Следовательно, если нужно верить последним показаниям только потому, что они последние, то последними были показания Рычковой, удостоверившие, что на очной ставке она говорила правду, на той самой очной ставке, где подтверждается, что Геркин непричастен к преступлению. Но самый метод этот порочен. Попробуем объективно проверить показания Рычковой. Рычкова была спрошена:

— Говорили ли вы кому-нибудь до возникновения уголовного дела о ваших соучастниках?

— Говорила.

— Называли фамилии?

— Называла.

— Кому?

— Беляковой.

Тогда спросили у Беляковой:

— Кого вам называла Рычкова как своих соучастников?

Белякова ответила:

— Рычкова мне называла Соколову, Самойлову и Будько.

— А называла она вам Геркина?

— Нет, не называла.

— И никогда не говорила, что Геркин изымал накладные?

— Нет, не говорила.

Но, может быть, этого мало? Тогда мы спросили Соколову. Соколова ответила:

— Да, я совершала вместе с Рычковой преступле-



ния; она мне рассказывала о всех своих преступных делах, но она никогда мне не говорила, что Геркин изымал накладные.

Если бы Геркин в действительности изымал документы, а Рычкова делилась всем, что она знала, с Соколовой и Беляковой, то почему она промолчала тогда об этих преступлениях Геркина?

Но есть еще одно доказательство непричастности Геркина к преступлению Рычковой. Вспомним показания свидетеля Козлова. Это он, едва началась ревизия, подошел к Рычковой и сообщил ей о том, что обнаружилось ее первое преступление. Взволнованная и испуганная Рычкова стала утверждать, что она мелкая участница преступления, что львиную долю взял себе другой, что она скорее жертва, только безвольная исполнительница, но не инициатор, и при этом назвала фамилию своего сообщника. Сказала, что во всем виноват Будько.

Товарищ прокурор спросил Козлова:

— А о Геркине говорила?

— Нет, имени Геркина она не упоминала.

Если она своему другу рассказывает о том, что с ней стряслась беда, что ее втянули в преступление, что она только жертва, если называет своих сообщников, то как она могла бы тогда умолчать о Геркине, если бы он в действительности брал накладные? Рычкова, называя своих сообщников, не назвала Козлову Геркина — разве это не лучшее доказательство, что в тех восьми показаниях, в которых она отрицала соучастие Геркина, она отрицала потому, что Геркин не участвовал в преступлениях?

Если показания Рычковой противоречивы, опровергаются показаниями свидетелей, если свидетели доказывают, что показание Рычковой, данное в конце следствия, неверно, то как можно ему верить? Товарищ прокурор говорит: «Я сам понимаю, что это спорное доказательство, но я ему верю». Один из отцов церкви говорил: «Credo quia absurdum». «Верю, потому что это абсурд». Но не сомневаюсь, что товарищ прокурор исключает абсурд как основание для веры. Верить можно по разным основаниям и даже без оснований, но выносить обвинительный приговор в таком случае невозможно. Мне думается, что показания Рычковой не

могут расцениваться как прямое доказательство вины Геркина.

Но осталось последнее прямое доказательство: показания Филиппова. Товарищ прокурор признает: Филиппова допрашивали многократно, и он категорически утверждал и утверждает, что никаких преступлений с Геркиным не совершал. Непокосимо он стоит на этой точке зрения и в суде.

— Забудьте, забудьте все это! — говорит прокурор.— Помните только одно: 27 февраля, девять месяцев тому назад, Филиппов сказал, что он соучастник преступлений Геркина. И этому единственному показанию верьте! Только оно непогрешимо. Тогда, только тогда Филиппов был правдив!

Опять тот же метод. Имеется около десятка показаний. Все они благоприятны для Геркина. Есть одно показание неблагоприятное, и вам говорят: верить нужно только неблагоприятному.

Но с показаниями Филиппова дело обстоит не так просто. И поверить этому неблагоприятному показанию не так легко. Тут закон чинит препятствие вере. Филиппов допрашивался (я говорю о том показании, на которое ссылается товарищ прокурор) 27 февраля. В качестве кого допрашивался Филиппов? Напрасно искать ответа на этот вопрос. Нам это неизвестно. В протоколе допроса не сказано, в качестве кого допрашивался Филиппов. В качестве обвиняемого? Невозможно! Ибо тогда еще ему не было предъявлено никакого обвинения. Оно было ему предъявлено только спустя два месяца. В качестве свидетеля? Но тогда почему нет предупреждения об ответственности за дачу ложных показаний? Чего стоят показания свидетеля, который не предупреждается об ответственности за них? Итак, в качестве кого же допрашивался Филиппов? Неизвестно. Не указано, где он допрашивался. Все это скрыто. Какая странная процессуальная таинственность! Неизвестно, в качестве кого, неизвестно где допрашивался, и нам говорят: вот этот допрос, учиненный с таким количеством нарушений, которые уничтожают его правовую ценность, этот допрос является единственно верным, ему нужно верить!

Но закроем глаза на все эти процессуальные нарушения. Забудем все это и обратимся к существу дела.

Бернард Шоу как-то сказал: «Когда человек необычайно точен в подробностях, я твердо знаю, что имею дело с лгуном!» Может быть, это и сильно сказано, как многое из того, что говорил Бернард Шоу, но зерно правды тут есть.

Вызывают Филиппова. Допрашивают его. «Совершали ли вы преступления?» Филиппов мог ответить: совершал или не совершал. Но ответ последовал поистине необыкновенный. Филиппов начинает излагать подробности, которых ни одна память, даже самая всеобъемлющая, удержать не может. Он сообщает, что им похищено год тому назад, в октябре, скажем, не 4000 литров, а 4253,5 литра пива, и притом не просто в октябре, а что это было 14-го, скажем, октября, и что 17 октября им было похищено 2948 опять же с половиной литра! И при этом выручено... он и в том и в другом случае помнит все суммы с точностью до одной копейки.

Ну, если бы какой-нибудь человек нам рассказал, что он год тому назад отдыхал в санатории, помнит номер путевки, и не только своей, но и друзей по санаторию и помнит номер железнодорожного билета и своего и случайных спутников, то вы бы сказали: хвастун! А тут всерьез говорят, что вся эта цифирь совершенно фантастического порядка является доказательством!

Нет, я думаю, что неправильно и в случае с Филипповым расценивать доказательства таким образом: если в показаниях имеются противоречия, то верить или не верить им нужно в зависимости от того, благоприятны или неблагоприятны они для подсудимого.

Конечно, необходимо сопоставить показания Филиппова с объективными данными. Филиппов говорит в этих показаниях, что он получил пиво по точно выписанной накладной, свез его на машине, а поездка записана в путевой лист. Его показания были проверены, были проверены накладные и путевой лист. Эти объективные доказательства опровергли показания Филиппова. Таким образом, лживость этого первого показания, от которого сам Филиппов потом отказался, была объективно доказана.

Вам предлагают сделать выбор и говорят: в деле имеется десять показаний, девять из них ничем не опровергнуты, десятое объективно опровергается — поверьте десятому!

Защита вправе утверждать, что показания Филиппова не могут рассматриваться как прямая улика, устанавливающая вину Геркина.

При проверке оказалось, что система отнюдь не доказывает вины Геркина; прямых доказательств вины Геркина нет. Но, может быть, косвенные доказательства столь вески и убедительны, что могут восполнить зияющую брешь, образовавшуюся в обвинении? Посмотрим.

Вы помните, товарищи судьи, первое из косвенных доказательств: Геркин разрешал получать пиво вне очереди только тем агентам, с которыми была преступная связь. Так ли это? В суд пришел начальник экспедиции Дубняков, а также заместительница Геркина, свидетельница Лев. Оба эти свидетеля подтвердили: да, действительно, было прямое указание торгового отдела, чтобы, во-первых, организациям Володарского района пиво отпускалось вне очереди и, во-вторых, чтобы несколько крупных покупателей пользовались теми же льготами. Им, только им, пиво отпускалось вне очереди.

Выслушав этих свидетелей, можно ли всерьез утверждать, что Геркин установил эти льготы? Нельзя пройти и мимо того, что и сейчас, после ареста Геркина, этими льготами пользуются те же самые организации. Таким образом, оказалось, что отпуск пива вне очереди, вместо того чтобы стать грозной уликой, обернулся простым исполнением разумных указаний торгового отдела, действующих и поныне.

Как это напоминает тот случай на судебном следствии, когда казалось, вот-вот преступление Геркина будет доказано. Явился свидетель Басов и сказал, что он, юрисконсульт Басов, установив хищение пива некоей Смирновой, сообщил об этом Геркину, а тот не хотел сообщать об этом прокуратуре. Товарищ прокурор много раз допрашивал Басова:

- Значит, Геркин покрывал преступников?
- Покрывал!
- Значит, мешал бороться с преступлениями?
- Мешал бороться с преступлениями.
- Не хотел разоблачать преступников?
- Не хотел разоблачать!

Картина получилась действительно мрачная. Затем Басову был задан один-единственный вопрос:

— А вы прокурору все же в конце концов сообщили?

И Басов ответил:

— Я сообщил прокурору о действиях Смирновой, но он прекратил дело за отсутствием состава преступления у Смирновой.

Законнейшие действия, если на них взглянуть глазами подозрительного человека, могут получить очень мрачную окраску, но от этого они не станут ни хуже, ни темнее.

Товарищ прокурор напоминал здесь: «Накладные! Накладные! Геркин уносил их к себе домой. Об этом свидетельствовала Кабатчинова».

Верно, свидетельствовала! Но при этом прибавила:

— У нас чинили сейф. Геркин на ночь уносил накладные, чтобы не было кражи, а утром возвращал мне все накладные. Так продолжалось до тех пор, пока не починили сейф. Я проверяла, все ли накладные он возвращал. Все накладные всегда, без всякого исключения, Геркин возвращал. Если бы хоть одну накладную он оставил у себя, я бы это заметила, ибо у меня ведется журнал с номерами накладных, а если бы он исправил хотя бы одну накладную, я бы и это заметила, потому что все накладные заполняются моей рукой.

Таким образом, грозная улика оказалась пустышкой. Но как парализует товарищ прокурор показания свидетельницы Кабатчиновой?

Он говорит:

— Здесь Кабатчиновой трудно верить.

Товарищ прокурор, бойтесь нападать на Кабатчинову! Ведь она вела книгу экспедиции, и если в книге экспедиции есть хоть одна неверная запись, если в книгу экспедиции вкралась хоть одна ошибка, то ведь вы подрезаете тот сук, на котором держится обвинение! Ведь все обвинение построено на том, что книга экспедиции правильна, что все в ней верно отображено и что в ведомостях отгруза все неправильно, ибо в них имеются расхождения с книгой экспедиции. Берегите Кабатчинову, товарищ прокурор, холите и цените ее! Если она допустила ошибку, то обвинение рухнет!

Почему же, забыв об этом, вы называете Кабатчинову «нервной старушкой»? Смотрите, так недалеко

дойти и до компрометации книги экспедиции, а без этого не останется никакого материала для обвинения всех остальных, проходящих по этому делу! Вот как просто и легко можно разделаться с благоприятными фактами, назвав женщину в 45 лет «старушкой», торопливо объявив ее «нервной» и тем самым якобы уничтожив доказательную ценность ее показаний!

И последнее из косвенных доказательств: на ведомостях отгруза была подпись Геркина, а ведомости отгруза он подписывал не проверяя. Верно, все это верно, но что же из этого факта проистекает, кроме того, что не всегда Геркин достаточно рачительно исполнял свои обязанности? Представителю обвинения нужно было бы доказать, что Геркин сознательно ввел такую систему, при которой ведомости подписываются без проверки, что до некоторого времени он проверял их, а когда стали совершаться преступления, он перестал проверять, изменил систему. Вот тогда это было бы доказательством его соучастия в хищениях. Но свидетели показывают, что в ряде отделов завода (и они называют эти отделы) ведомости подписывались лицами, имеющими право первой подписи после того, как бухгалтер составлял их. Они подписывали ведомости не проверяя, полагая, что это обязанность бухгалтера. Так было не только в отделе сбыта, но и в других отделах, где преступления не совершались. В этом Геркин придерживался той скверной и ошибочной системы, которой придерживались и другие руководители, не привлеченные по делу. Установлено, что ведомости Геркин начал подписывать не проверяя за полтора-два месяца до того, как возникла первая мысль у первого лица, совершившего преступление на заводе, о возможности этого преступления. Следовательно, еще не зная, что совершаются или будут совершаться преступления, Геркин подписывал ведомости не проверяя их.

Итак, пожалуй, можно сказать, что косвенные доказательства претерпели ту же участь, что и прямые.

Как бы восполняя недостаточность доказательств, товарищ прокурор прибегнул к доводу, несколько неожиданному: Геркин, уверял он, производит отталкивающее впечатление, он проявлял неуважение к суду, он вел себя неподобающим образом, он игриво улыбался.

Да, Геркин улыбался. Но разве жизненный опыт, самая заурядная наблюдательность не подсказывают нам, что одни подсудимые ведут себя собранно, держат себя в руках, зная, как важно напряжение всех сил в нелегкой борьбе и за свое прошлое и за свое будущее, а те, кто послабее, кто помельче, те подчас не в силах справиться с неизбежным волнением, и если у них появляется улыбка, кривая и жалкая, то кто в ней не угадает молчаливой и робкой просьбы о мягком к себе отношении?

Да и с чего, собственно говоря, Геркину улыбаться? Сын его, его единственный сын, погиб в боях за Родину, мать замучена фашистами, сам он вот уже немалое время в тюрьме и, слушая речь обвинения, не знает, как скоро раскроются перед ним двери, ведущие на свободу. С чего же Геркину «игриво улыбаться»?

Товарищ прокурор уверял вас, что Геркин производит отталкивающее впечатление. Я не хочу и не могу разбираться в том впечатлении, какое Геркин производит. Может быть, и мне, его адвокату, не удастся увидеть нимб святости над его головой, может быть, и мне он кажется с простой человеческой точки зрения не очень приятным. А какое это имеет значение для дела? Разве можно допустить, чтобы симпатии или антипатии влияли на самые доказательства по делу? Разве можно допустить, что симпатия ослабит улики, собранные против подсудимого? А если подсудимый вызывает чувство антипатии, разве это увеличит силу улик, собранных против него?

Стать на такую точку зрения, значило бы проявить недостаточное уважение к суду. Суд, несомненно, преодолевает симпатии и антипатии, когда решает вопрос о доказанности обвинения. Суд не может допустить, чтобы невольно возникающие отношения к подсудимому что-нибудь прибавляли или убавляли в степени доказанности виновности, в силе самих доводов. Поэтому пусть мне будет позволено оставить без опровержения последний из доводов обвинения, довод, идущий не от разума, а от впечатления, производимого Геркиным.

Вот и рассмотрены и разобраны все доказательства по делу Геркина.

«Их достаточно, вполне достаточно, чтобы осудить

Геркина за хищение социалистической собственности», — утверждает товарищ прокурор.

Защита по мере своих сил доказывала противоположное: обвинение не смогло собрать необходимых и достаточных доказательств вины Геркина, и его надлежит оправдать по обвинению в хищении социалистической собственности.

Ведя этот спор, и обвинение и защита вызывают к вашему вниманию, товарищи судьи.

Но в этом споре закон дает защите преимущество. Для того чтобы осудить, необходимо, чтобы возникла непоколебимая уверенность в безупречности и предельной убедительности доказательств обвинения.

Для того чтобы оправдать, нет необходимости в непоколебимой уверенности в невиновности подсудимого, для этого нужно гораздо меньше: достаточно, чтобы возникли сомнения в обоснованности обвинения.

Судейская мысль, пытливая, не знающая успокоения, знает только одну дорогу к уверенности — дорогу преодоления всех сомнений. А если сомнения остаются непреодоленными, путь к уверенности закрыт.

Верю, что в деле Геркина голос сомнений в его невиновности не может умолкнуть, а этого достаточно для того, чтобы он был оправдан.



# ДЕЛО ПУЛИКОВА

## УБИЙСТВО С КОРЫСТНОЙ ЦЕЛЬЮ

26 марта 1947 года в гости к Марии Борисовне Вильнер пришел ее знакомый Эльханан Пуликов. По его показаниям, он ушел от Вильнер около полуночи.

27 марта ни утром, ни днем Вильнер из комнаты не выходила. Встревоженные соседи вошли в ее комнату и обнаружили, что Вильнер задушена.

Во время предварительного следствия был собран ряд улик, послуживших основанием для обвинения Пуликова в убийстве Вильнер. И на предварительном следствии и в суде Пуликов отрицал свою вину.

Дело слушалось в Ленинградском городском суде.

Перед окончанием следствия защита возбудила ходатайство о направлении дела на исследование для выяснения вопроса: не было ли совершено убийство другими лицами, а не Пуликовым?

В ходатайстве защите было отказано.

В своей речи защитник вновь доказывал, что дело недостаточно исследовано. После речей сторон Ленинградский городской суд направил дело на исследование.

После проведенного исследования Пуликов вновь был предан суду и осужден.

Публикуемая речь была произнесена при первом рассмотрении дела.

*Товарищи судьи!*

Когда товарищ прокурор потребовал крайне сурового наказания для Пуликова, в зале раздались аплодисменты. Оставить без внимания эти аплодисменты я не имею права.

Мне хотелось бы думать, что аплодисменты являют-

ся данью восхищения ораторским искусством товарища прокурора. Но это неверно. Как бы ни было велико ораторское искусство товарища прокурора, но, очевидно, присутствующие здесь понимают, что суд — не турнир красноречия и не бой двух рыцарей красного словца. Те, кто аплодирует, как бы говорят: «Выводы прокурора верны». И если бы тем, кто аплодирует, было дано право судить, они бы безоговорочно выполнили требование обвинения, они бы уж, не колеблясь, осудили Пуликова. У них не осталось сомнения в том, что Пуликов виноват.

Я позволю себе без слов укоризны спросить тех, кто аплодировал: не рано ли, не слишком ли рано взяли вы на себя большую и тяжкую ответственность, считая, что вам уже открылась вся правда по делу? Вы ведь еще не слышали ни одного слова защиты, еще не прозвучал ни один довод в опровержение обвинительной речи! Кто возьмет на себя решимость заявить, что Пуликова нужно осудить на 20 лет лишения свободы, до того, как ему будет дана возможность защищать себя?

И если бы каждый из тех, кто сейчас аплодировал, спросил себя: «А не поторопился ли я с выводами?», он, наверное, ответил бы: «Да, поторопился».

Но я никому не бросаю слова укоризны, потому что нетрудно понять, откуда идет и растет это нетерпеливое желание услышать, что убийца найден и наказан.

Чем страшнее преступление, чем больше оно возмущает нашу совесть и оскорбляет наше представление о человеке, тем мучительнее и нетерпеливее мы хотим, чтобы преступление было скорее раскрыто, чтобы виновный был наказан, а жертва — отомщенной. Как не понять стремления, чтобы виновный не ушел от наказания? Как не понять, с какой горячностью испытывали это стремление соседи по квартире убитой Вильнер? Но как много опасности в этой горячности для судьбы Пуликова и для дела правосудия!

29 марта соседи узнали, что у них в квартире зверски задушена Мария Борисовна Вильнер. Не нужно особых живописаний, чтобы отчетливо представить, какое смятение охватило этих людей, какая буря чувств обрушилась на них. Соседи испытывали жалость к убитой, отвращение к убийце и страх, что *такое* произошло у них в квартире.

Смятенные, охваченные тревогой, они не в силах были оставаться наедине сами с собой, они жались друг к другу, ходили из комнаты в комнату, собирались все вместе в коридоре и все время думали о той, которая только вчера еще была с ними, а теперь лежит мертвая в своей комнате.

Они думали, думали о том, кто же убийца. Думали, делились мыслями, обменивались мнением, и вдруг их осенила догадка...

Еще не имея никаких доказательств, они уже всё раскрыли! Еще ничего не зная, они уже всё узнали. Еще ничего не найдя для того, чтобы раскрыть правду, они сказали: «Мы нашли убийцу!»

Нет ничего страшнее этой внезапно охватившей их догадки.

Растрезоженное воображение соседей могло им многое подсказать и придать особый, новый и пугающий, смысл тому, что они раньше знали и слышали от самой Вильнер.

Вильнер была женщиной, обладавшей большими достоинствами и небольшими недостатками. Эти недостатки были легко переносимы, почти забавны и настолько умилительны, что они, пожалуй, располагали к Вильнер сердца людей не меньше, чем ее достоинства. Мягкая, прямодушная, бесхитростная и добрая женщина, Вильнер была немного болтлива, а иногда и чрезмерно откровенна. Но ее недостатки никого не злили, все понимали, что недостатки эти рождены ее непосредственностью, ее сердечным влечением к людям. Ей были настолько интересны и дороги люди, что она не могла им не верить и считала, что и она должна быть интересна и дорога им.

И вот когда эта добрая, хорошая женщина увлеклась Пуликовым, то об этом увлечении немедленно и во всех подробностях узнали все: знакомые, малознакомые и даже случайные встречные — все, кто только не отказывался узнать, и каждому сообщалось то, что ее, очевидно, больше всего трогало: «У Пуликова изумительные глаза». Она была наивна и все еще думала, веря пословице: «глаза — зеркало души», что если у человека глаза изумительные, то такова же должна быть и его душа.

Она была способна приписывать людям черты, кото-

рых у них не было, награждать достоинствами, которыми они не обладали.

У Вильнер действительно было щедрое и открытое сердце, потому она и верила, что Пуликов замечательный человек.

Нетрудно себе представить, как радовалась эта хорошая и легковверная женщина, когда Пуликов приходил к ней.

26 марта Пуликов пришел к ней в последний раз.

Свидетель Рубакова с ласковой усмешкой рассказывала:

— Вильнер не проходила, а проносилась по коридору к выходной двери, чтобы открыть ее Пуликову и на одно мгновение дольше побыть с ним.

Все это соседи знали и, быть может, поэтому легко создавали картину того, чего, возможно, и не было. Замирая от ужаса, они представляли себе: Вильнер ждет Пуликова. Как она радуется его приходу, как волнуется перед встречей! А когда он приходит, она держит себя с ним, как с другом, как с близким и родным человеком. Уставшая за день, она прилегла на диван. Пуликов присел рядом. Вот он поднял руки, протянул их к ней, а она улыбается ему доверчиво, мягко и ждет его ласки (о, как все ясно видели соседи!). Руки Пуликова все ближе и ближе тянутся к Вильнер, и вдруг с нечеловеческой силой он сжал горло несчастной женщины и душил, душил даже тогда, когда Вильнер была уже мертва.

Так это виделось соседям. Могли ли они после этого не хотеть, чтобы Пуликов был наказан?

Соседи не в силах были трезво и беспристрастно анализировать факты, холодно их взвешивать. Соседи стали жертвами своего потрясенного преступлением воображения, своего благородного, но, увы, не всегда, верно направляемого чувства возмущения убийцей и жалости к убитой.

Вольтер говорил: «Нет ничего страшнее, чем предубеждение, рожденное из добрых побуждений».

Из предубеждения соседей родилось подозрение. Подозрение сразу превратилось в уверенность, и никому не пришло в голову, что его нужно проверить, сопоставить с фактами.

Соседи, точнее — соседки, со всем жаром новообра-

щенных, убежденных в том, что они делают справедливое и нужное дело, отбрасывали с яростью все то, что хоть немного могло ослабить обвинение Пуликова.

Соседки в этот день как бы заражали друг друга догадками. Одна обронит догадку, вторая подхватит, третья подкрепит всплывшей в памяти деталью, тогда и первая кое-что прибавит, и вот в догадку уже уверовали! Уверовали непоколебимо.

Так петелька за петелькой плелась сеть, которую стремились набросить на того, кого уже признали убийцей.

Да, признали, ибо фактически еще до того, как возникло следствие, все улики были уже собраны. Да что там — собраны! Обоснованы, закреплены и выдвинуты против Пуликова!

На листе дела 2 имеется заявление. С него, собственно, и начинается дело. В этом заявлении соседки Вильнер подробно рассказывают, почему они считают Пуликова, его, и только его, никого, кроме него, убийцей. И все эти предположения и догадки, нетронутые, непроверенные, из заявления перекочевали в обвинительное заключение.

Жалость и гнев вели за собой несопротивляющуюся мысль авторов заявления, которые могли и не знать, что... и слезы жалости и взрывы ярости равно туманят взор.

Но необходимо сделать так, чтобы взор был чистым. И, как окрик часового, стоящего на посту, предупреждающий об опасности, пусть звучат, не умолкая, в вашей памяти слова: «Сквозь слезы жалости или туман ярости нельзя увидеть правды».

Плохо видели правду те, кто своим заявлением убеждал следствие, что только Пуликов мог быть убийцей.

Как иначе можно объяснить, что маленькие и ничтожные фактики, не имеющие никакой доказательственной ценности, воспринимались как грозные и непроверяемые улики?

Первой высказала догадку Таисия Сергеевна Рубакова. Она рассказывала:

— Я вошла в комнату, в ней стоял человек, спиной ко мне, лицом к шкафу, и *не обернулся*, когда я вошла. Я тут же задумалась, почему это он не оборачивается?

На помощь сестре приходит Зоя Сергеевна Рубакова. Она находит ответ:

— Пуликов не обернулся потому, что он скрывал свое лицо, так как не хотел, чтобы его видели.

Стоило только высказать эту догадку, как Рубакова меняет свои показания и заявляет:

— Пуликов не стоял лицом к шкафу! Он отвернулся, как только я вошла.

Итак, сестрам становится ясно: Пуликов не хотел, чтобы его видели! И, конечно, не хотел неспроста!

Догадка рождает догадку. Подозрение громоздится на подозрение.

Сестра Рубакова спрашивает сестру Рубакову:

— А слышала ли ты двадцать шестого, как звонил Пуликов?

— Нет.

Сестра не слышала!

И немедленно рождается новая улика: Пуликов не звонил. Значит... значит, он стучал в стенку комнаты Вильнер, когда приходил. Чтобы никто не слышал звонка, чтобы никто не знал, что он пришел!

Теперь сестры Рубаковы уже владеют истиной: Пуликов тайком пробирался к Вильнер, чтобы его никто не видел, чтобы ему было легче осуществить свой преступный замысел.

Это уже не подозрение, а грозная и тяжелая улика. Так ее расценивает и обвинительная власть. Авторам и заявления и обвинительного заключения кажется естественным, что Пуликов, приходя к Вильнер и раз, и два, и четыре, приходя к ней не только один, но вместе с ее знакомыми, мог тешить себя надеждой, что его никто не увидит и не узнает, мог верить, что будет невидимкой ходить по коммунальной квартире, где 7 комнат и 25 жильцов.

Соседкам все ясно: Пуликов соблюдал конспирацию для того, чтобы не оставить доказательств своего пребывания у Вильнер, для того, чтобы, если его спросят после убийства Вильнер, бывал ли он у нее на квартире, он бы мог сказать: «Нет, никогда не был!» И тогда никто не в силах будет его изобличить.

Так считают сестры Рубаковы, так, к сожалению, считает и обвинительное заключение.

А как же дело обстоит с фактами?

Убийство совершено и обнаружено. Пуликова вызывают к следователю и спрашивают: бывал ли он на квартире у Вильнер? И он, который, судя по показаниям сестер Рубаковых, скрывал свое лицо, отворачивался от соседей, вот теперь-то он и должен сказать то, ради чего таился, вот теперь-то он и должен сказать, что никогда не бывал у Вильнер, что не посещал этой квартиры.

Пуликова спрашивают, и он сразу признает, при первом же допросе признает: да, был и раз, и два, и три, был и 26 марта, в день ее убийства. Он ничего не скрывает!

Чего же стоит домысел тех, кто, встревоженный страшным преступлением, мучимый жадной скорее раскрыть его, видит улики там, где их нет, кто убеждает нас, что Пуликов скрывает то, чего он и не собирался скрывать!

Есть вторая, не менее грозная улика. Сестры Рубаковы утверждают, что к тому времени, когда Пуликов уходил из квартиры, Вильнер была уже убита.

Это, несомненно, страшная улика. Ее ведь не оспорить и не ослабить, от нее нет спасения Пуликову... если эта улика верна. И совершенно естественно, что здесь вы, товарищи судьи, дважды спрашивали сестер Рубаковых почему они утверждают, что к моменту ухода Пуликова из комнаты Вильнер она была уже убита.

И не обинуясь, сестры Рубаковы ответствовали: если бы, говорили они, Вильнер была жива после ухода Пуликова, она бы обязательно пришла к ним, Рубаковым, и поделилась своими впечатлениями от визита Пуликова. Но раз она не вошла к соседям, не рассказала им о своих впечатлениях и переживаниях, то вывод можно сделать только один, утверждают сестры Рубаковы: она была мертва. Только смерть, и не что иное, как смерть, могла помешать Вильнер поделиться впечатлениями.

Сестер-свидетельниц спросили: когда они ложатся спать?

И мы услышали их ответ:

— Мы в восемь утра уходим на работу, поэтому и ложимся не позднее одиннадцати часов.

Ну что ж, сестрам-соседкам могло казаться непре-

ложным, что Вильнер должна была, и не могла поступить по-иному, ворваться в 12 часов ночи к спящим людям, поднять их с постели, чтобы они вместе с нею обсуждали и переживали все оттенки и извивы ее лирической беседы с Пуликовым и радовались вместе с нею, что Пуликов вновь сказал то, о чем она уже ранее поведала Рубаковым: «Пуликов находит, что у меня красивые зубы».

Умозаключение сестер-свидетельниц не вызывает удивления: разве им нужны доказательства? Ведь доказательства только мешают. Без них легче обвинять. Например, если Вильнер вчера не поделилась своими впечатлениями о встрече с Пуликовым, значит, можно сделать вывод, что она была мертва.

Удивительно то, что этот домысел сестер Рубаковых был воспринят следственной властью.

Нужно отдать должное товарищу прокурору: выводы и соображения сестер Рубаковых он не привел в своей речи как доказательства обвинения Пуликова.

Есть и третья грозная улика.

Таисия Рубакова заявила в суде, что вечером 26 марта она дала во временное пользование Вильнер таз. Но Вильнер не вынесла его обратно на кухню, а поставила за дверь.

— Какой вы делаете из этого вывод? — спросили у Рубаковой на следствии.

Рубакова заявила убежденно и решительно:

— Вильнер — человек очень аккуратный. Она просила таз на короткое время и обязательно бы отнесла его на кухню. Но она таз не отнесла и, следовательно, не имела возможности отнести.

И не очень прямо, но все же высказывает предположение:

— Если не имела возможности отнести, то, очевидно, только потому, что была убита.

Эта догадка высказана и в обвинительном заключении.

Но ведь таз все же был поставлен за дверь.

Рубакова догадывается: Пуликов выставил таз за дверь после убийства Вильнер, рассчитывая, что в комнату к Вильнер тогда не будут стучаться, чтобы получить таз, и пройдет много времени, пока узнают, что Вильнер убита.



Итак, таз выставлен Пуликовым после убийства Вильнер. Ну, а как же быть с фактами?

Таисия Рубакова утверждает, что таз она увидела и убрала до одиннадцати часов вечера, а в половине двенадцатого к Вильнер звонила по телефону свидетельница Цейтлина, и Вильнер ей отвечала.

Рубакова могла этого не знать, но следственная власть знала. Тем не менее домысел Рубаковой в обвинительном заключении изложен как улика.

Надо прямо сказать, что если бы обвинение располагало только этими уликами, то спор между сторонами было бы совсем нетрудно решить. Но обвинение располагает значительно более серьезными уликами.

Установлено, что у Вильнер был портсигар, в который были вмонтированы часы. Это делало его приметным. Незадолго до убийства свидетели видели этот портсигар у Вильнер. А затем он исчез. Но через несколько дней портсигар был обнаружен у свидетеля Орловского. Свидетель показал, что он приобрел портсигар у часового мастера Мишловича в конце марта. Это весьма важное обстоятельство. Оно свидетельствует, что портсигар продан после смерти Вильнер.

Следствие пошло по следу, указанному Орловским: был допрошен Мишлович. И он показал, что портсигар ему продал не кто иной, как Пуликов. Портсигар стал превращаться в серьезную улику. Теперь многое зависело от того, какие объяснения даст Пуликов. С необходимой осмотрительностью, не раскрывая всего того, что следствию известно, Пуликова спрашивают о том, был ли у него портсигар с вмонтированными часами и что он с ним сделал? И тут Пуликов начинает от всего отрезаться, говорить явную неправду, мол, никакого портсигара у него не было и, конечно, он ничего Мишловичу не продавал.

Все это оборачивается немаловажной уликой против Пуликова.

Но Пуликов словно только и озабочен тем, как бы усилить эту улику против себя. Из тюрьмы Пуликов пытается переслать письмо матери, в котором просит склонить Мишловича к неправде, к отрицанию того, что портсигар ему продал Пуликов. Письмо это до матери не дошло, оно поступило в распоряжение следователя.

Письмо было показано Пуликову, и он понял, что

дальнейшее отрицание продажи портсигара бессмысленно. И только тогда Пуликов признался в том, что портсигар он продал Мишловичу. Пуликов объяснил, что портсигар ему подарила Вильнер. Подарила дней за десять до своей смерти, но он не хотел брать подарка, а Вильнер настаивала. И тогда (это было 25 марта), когда он был у нее в предпоследний раз и увидел, что его отказ и огорчает и оскорбляет Вильнер, он принял подарок.

Это запоздалое объяснение Пуликова, как и все его поведение в истории с портсигаром, естественно, может вызвать серьезное подозрение. Было бы нелепо закрывать на это глаза.

Но товарищ прокурор видит в истории с портсигаром не просто основание для подозрения. Нет! В истории с портсигаром он усматривает решающее и исчерпывающее доказательство виновности Пуликова.

Товарищ прокурор сказал, что с известной натяжкой еще можно было, пожалуй, допустить, что Вильнер подарила портсигар Пуликову. Но сам Пуликов полностью и очень убедительно опроверг такую возможность. Никто ведь не делает подарков в рассрочку: 15 марта портсигар был подарен, а взял его Пуликов только 25 марта. Но главное, что уличает Пуликова, это его поведение на следствии. Если Вильнер подарила ему портсигар, то зачем же он отрицал, что портсигар у него был? Если он получил портсигар в подарок, зачем бы ему отрицать продажу портсигара? И не только самому, но и склонять Мишловича к даче ложных показаний! И, наконец, если портсигар был ему подарен, то зачем бы он стал тут же его продавать?

Поведение Пуликова, говорил товарищ прокурор, объяснимо только в одном случае: убийца заметал следы.

Защите нужно либо найти другое объяснение поведения Пуликова, чем то, которое дано в обвинительной речи, либо признать, что выводы обвинения правильны.

Пусть мне будет позволено проанализировать всю историю с портсигаром, основываясь не только на формальной логике. С ее помощью не разрешить сложных жизненных сплетений, как нельзя утолить жажду, предложив вместо воды ее химическую формулу.

Что сильнее всего свидетельствует против Пуликова

в истории с портсигаром? Это — его заpiresательство. В самом деле, заяви Пуликов на первом же допросе: «Портсигар мне подарила Вильнер, она была очень увлечена мною и хотела сделать мне приятное», какие основания были бы ему не верить? Что имело бы в своем распоряжении следствие, чтобы опровергнуть объяснения Пуликова? Решительно ничего.

Товарищ прокурор говорил, что в подарок нельзя поверить, ибо «не делают подарков в рассрочку». Этот довод не лишен внешнего блеска и остроумия, но он ведь не выдерживает проверки жизненной правдой.

Могло ли быть так, что Вильнер просила Пуликова взять от нее в подарок портсигар, скажем, 15 марта, а Пуликов не хотел сначала принимать подарок, а потом согласился? Мне думается, что даже небольшой экскурс в область психологии сделает достаточно достоверным все то, что раньше могло показаться неясным или спорным.

В личной жизни Вильнер не все благополучно. Ей 42 года. Возраст приближается к почтенному. На пороге — одиночество. У нее все меньше надежд на создание в третий раз крепкой хорошей семьи. А тоска по семье все увеличивается. И часто бывает так, что тоска рождает надежду там, где разум не мог бы ее дать.

Вильнер знакомится с Пуликовым. Он молод, она не знает, что он женат. Он часто приходит к ней и засиживается допоздна, как это может делать человек свободный. Мария Борисовна Вильнер, женщина влюбчивая и легковерная, — никто ведь по-иному ее и не характеризовал — воспринимает отношение к себе Пуликова не совсем верно, а может быть, и совсем неверно. Когда Мария Борисовна слышит первые, привычно штампованные ласковые слова Пуликова, она начинает думать и верить, что, быть может, ее связь с Пуликовым окажется не случайной. Она начинает верить, что этот человек, с торжественным и строгим древнееврейским именем — Эльханан, станет для нее вторым Хананом, — так звали ее мужа. Пуликов пришел к ней раз, другой, третий. И не только в порыве нежности, но и потому, что ей хочется знать, как относится Пуликов к их связи, она предлагает ему: «Возьми портсигар. Я дарю его тебе».

Она не разумом, а сердцем угадывает, что если Пуликов возьмет портсигар, то тем самым признает, что их

связь не случайна. Принятие портсигара выросло в символ прочных и хороших отношений, становилось признаком того, что их отношения не рассеются как призрак. Элементарное мужское достоинство мешало Пуликову принять подарок в первые дни близости с женщиной, связь с которой была в его глазах случайной и кратковременной. Так просто, без особой сложности и можно объяснить, почему 15 марта был предложен подарок и почему он не был принят.

Прошло десять дней. Пуликов за это время зачастил к Вильнер. Она снова предлагает Пуликову в качестве подарка портсигар. Он пытается снова отказать, но Вильнер огорчается и тревожится: какие же у него основания не принять подарок?

Своих чувств Вильнер скрывать не умеет. И тревожится и огорчается она достаточно бурно. Пуликов понимает, что, не принимая портсигара, он не только огорчает ее, но и оскорбляет, подчеркивая случайность и мимолетность их связи. Вот почему не кажется натяжкой следующее объяснение Пуликова: «Подарила она мне портсигар в первые дни нашего знакомства, но я не хотел принимать подарка, чтобы она не решила, что наши отношения будут долговечными и прочными».

Итак, причина «подарка в рассрочку» найдена. Следует только прибавить еще одно немаловажное обстоятельство: о том, что портсигар был предложен в подарок 15 марта, а взят Пуликовым через 10 дней, рассказал сам Пуликов. Никто, кроме него, этого не говорил. Вряд ли можно допустить, что Пуликов нарочно стал придумывать такие детали, которые могли бы вызвать только недоверие к его объяснениям.

И все же я должен признать, что то объяснение, которое сейчас дано факту принятия портсигара в подарок, является скорее предположением, чем доказательством. Как, впрочем, является и предположением мысль, что портсигар не был получен в подарок. Но в деле имеется, на мой взгляд, достаточно доказательств тому, что Вильнер подарила портсигар Пуликову. Таким доказательством является то самое письмо Пуликова матери, которое было перехвачено.

Товарищ прокурор сказал, что он и защитник будут по-разному читать письмо. Нет, не по-разному! Смысл письма однозначен. Это письмо написано тайком, напи-

сано для того, чтобы глаз следователя никак и никогда бы его не увидел. Это письмо-инструкция, которая учит, какие показания нужно давать свидетелю Мишловичу. Это письмо не только предельно откровенно. Оно могло быть написано лишь в полной уверенности, что никто посторонний в него не заглянет, иначе разве стал бы писать Пуликов, что нужно заплатить Мишловичу за ложь, сколько нужно заплатить и в чем должна заключаться ложь?

Вот в этом письме, предназначенном для матери, в письме, где Пуликов ничего не скрывает и ничего не опасается, он пишет: «Мама, мне портсигар Вильнер подарила. Это подарок, но никто мне сейчас не верит».

Я бы хотел сам против себя выдвинуть такое возражение: да, Пуликов считал, что никто, кроме матери, письмо не прочтет, но ведь он мог также скрыть и от матери, что он убийца, он мог и мать обмануть.

Что ж, возражение не лишено основания. Но обратимся снова к письму, и нам будет нетрудно проверить, писал ли Пуликов правду, говоря о подарке.

Товарищ прокурор прочел в своей речи все письмо Пуликова. Все письмо... кроме последней строчки! Ее опустил товарищ прокурор. Будем считать, что это сделано случайно.

Письмо заканчивается просьбой, почти заклинанием: «Мама, только Оле это письмо не показывай, бога ради. не показывай!»

Оля — это жена Пуликова. В письме только о портсигаре-подарке и идет речь. Пуликов молит мать, пусть Оля не знает ничего о портсигаре, пусть не знает, что он получил подарок от другой женщины.

Если бы история с портсигаром была выдумана, если бы Пуликову портсигар не подарили, он бы не боялся, что Оля об этом узнает. Скрывать от жены, что портсигар подарен, можно только в одном-единственном случае — когда портсигар действительно подарен.

И, наконец, имеется основанное уже не на психологии доказательство того, что портсигар был получен Пуликовым при жизни Вильнер, а следовательно, был подарен. Тут уж в защиту Пуликова выступают даты.

Свидетель Орловский заявил, что портсигар он купил в конце марта. Возьмем наиболее неблагоприятную

дату, будем считать, что Орловский приобрел портсигар в последний день марта — 31-го.

Мишлович показал, что портсигар у него был не менее 6 дней. Установить дату продажи портсигара несложно — 25 марта. А Вильнер была жива и 25 и 26 марта!

Объективности ради, следует вспомнить допрос свидетельницы Беляковой, которая показала, что Вильнер, дескать, не могла подарить портсигар, так как это подарок мужа. А мужа Вильнер любила.

Я спросил свидетельницу:

— А Пуликова?

Свидетельница не без живости ответила:

— Пуликова — тоже! Вильнер была Пуликовым очень увлечена, хотела связать с ним свою жизнь, была с ним в близких отношениях.

Едва ли можно всерьез принимать точку зрения свидетельницы: верность можно не хранить, а вот портсигар сохранить должна была.

Я не вправе забыть еще одно кажущееся подозрительным обстоятельство. Если 25 марта Пуликов согласился принять в подарок портсигар, почему же в тот же день он захотел избавиться от подарка? Зачем стал его продавать?

Хорошо или плохо продавать подарок в день его получения — вопрос немаловажный, когда речь идет о том, чуток и тонок человек или груб и бесчувствен, но это не имеет никакого отношения к основному вопросу: виновен ли Пуликов в убийстве? Ведь продан-то портсигар 25 марта, когда Вильнер была жива. А если уж так нужно искать причину, по которой Пуликов продал подарок, то открыть ее нетрудно. Пуликов чужд сантиментов, и Тристана из него не сделаешь. «Поразвлекись на стороне», но так, чтобы жене не было известно, — на это Пуликов способен, очень даже способен, но только, чтобы это не вносило разлада в семью. Принести портсигар в дом — значило навлечь подозрения, вызвать опасные расспросы. И Пуликов предпочел продать портсигар. Если же Вильнер спросит, где портсигар, он скажет: дома оставил. А так как он-то знал, что встречи его с Вильнер вскоре прекратятся, случайные связи недолговечны, то подумал, что Вильнер продажу портсигара и не обнаружит.

Можно прийти к выводу: утверждение Пуликова, что портсигар ему был подарен, материалами дела не опровергается. Но тогда зачем же он говорил неправду, зачем вначале отрицал, что у него был портсигар и он его продал?

Да, он говорил неправду и понуждал других говорить ее. «Значит, он виноват», — утверждает товарищ прокурор. Но неужели лгут только в тех случаях, когда хотят скрыть преступление?

Разве не бывает и так, что лгут люди, ни в чем не повинные, но которые попали в трудное положение и которые не имеют мужества, твердости и душевных сил защищаться прямым путем? Тяжелое обвинение и в том случае, когда оно несправедливо, может вызвать стремление защищаться неверным путем, защищаться ложью.

Вспомним, когда был заключен под стражу Пуликов. На третий день после убийства! Какие были тогда улики против Пуликова? В распоряжении следствия ничего не было, кроме подозрений соседок Вильнер по квартире; они, и только они показывали о тазе, который не был вынесен на кухню, и о стуке в стенку, которого никто не слышал. И все же Пуликова держали под стражей! Держали без достаточных оснований, строя обвинение лишь на домыслах соседок по квартире. При этих условиях Пуликов мог опасаться, что, как только вместо догадок, предположений, домыслов появится хотя бы одно доказательство, пусть непроверенное, пусть неверное по существу, но такое, которое может быть расценено как имеющее реальный вес, тогда ему не поверят, какие бы доводы он ни приводил, тогда дело против него обернется.

Для того чтобы из жемчужин сделать ожерелье, нужна только нитка, чтобы из психологических изысканий составить цепь улик, нужен только факт. И вот он появился: Пуликов продал портсигар, который принадлежал Вильнер. Я отнюдь не одобряю попытку Пуликова оправдаться ложью, но неужели мы должны забывать о том страхе, который мучил Пуликова и о котором он писал матери: «...мне портсигар Вильнер подарила. Это подарок, но никто мне сейчас не верит».

Пуликов рассуждал примерно так: обстоятельства складываются хоть и несправедливо, но очень неблагоприятно. Стоит только сказать правду, и мне не пове-

рят. Что же делать? Попытаюсь избавиться от беды, от несправедливого обвинения неправдой.

Конечно, Пуликов неправ. Но нельзя усматривать в его неправде доказательств его виновности. К неправде прибегают не только преступники, но и малодушные люди, попавшие в беду.

Думается, что теперь мы вправе подойти к выводу, что и продажа портсигара, и ложь, к которой прибег Пуликов, отнюдь не могут считать достаточным и необходимым доказательством виновности Пуликова.

По английской пословице, сколько бы кролика ни называли слонем, у него от этого хобот не вырастет. Как бы мы ни называли догадки и предположения о виновности Пуликова крепчайшими и самыми неопровержимыми уликами, убедительнее от этого они не станут. А вот спорность их и жизненная несообразность делаются все более ясными, если взять за критерий, не мудрствуя лукаво, бесхитростный здравый смысл. Ведь если поверить обвинению, то Пуликов, идя на преступление, совершает одно безумство за другим.

Пуликов — врач, человек с логически развитым мышлением. Пуликов ходит на квартиру к Вильнер, зная, что его там увидят. Пуликов приходит на квартиру к Вильнер 26 марта. В комнате Вильнер его видит в этот вечер Рубакова. На лестнице, поднимаясь к Вильнер, он встречает Катаеву и разговаривает с ней. Следовательно, для него ясно, что о его посещении известно, по крайней мере, двум лицам. И тем не менее, сидя до полуночи у Вильнер, он решается задушить ее. Он уходит из квартиры, рискуя, что сейчас же, вслед за его уходом, убийство раскроется. А если даже оно раскроется утром, а он последний, кто был у Вильнер, то разве он не понимает, что следы ведут прямо к нему? И это его не останавливает.

У него в руках портсигар — страшная улика, неумолимый свидетель. Пуликов идет продавать его. Но к кому? Идет не к случайному человеку, не к тому, кто его не знает, нет, — он идет к человеку, с которым он знаком более 4 лет и который несомненно его опознает.

Как объяснить такую цепь безрассудных и бессмысленных поступков?

Можно себе еще представить, что во власти слепой ярости, подчиняясь бурному напору чувств, забыв о са-



мосохранении, человек пошел на убийство. Но ведь Пуликову предъявлено обвинение в убийстве из корысти, из стремления овладеть деньгами Вильнер.

В обвинительном заключении указывается, что Вильнер работала инкассатором. Пуликов знал об этом, знал также, что у нее могли быть на руках большие суммы. И он убил ее, чтобы завладеть инкассированными деньгами.

Да, Пуликов знал, что Вильнер работает инкассатором. Но он знал и то, что знали соседки: Вильнер инкассаторские деньги домой не приносила, а сдавала их в банк.

Но ведь она могла отступить от этого правила. Могла, хотя никогда не отступала. И выходит, что Пуликов так, на авось, наугад, на всякий случай, даже не сделав попытки узнать, принесла ли против своего обыкновения Вильнер 26 марта деньги, убивает ее. Что есть в этом предположении от жизненной правды?

Здесь, в суде, было доказано, что денег домой Вильнер не принесла. В ее портфеле обнаружены нетронутыми только 343 рубля и театральные билеты.

Каков же тогда был мотив убийства у Пуликова? Ответа на этот вопрос нет. Но есть одно обстоятельство, которое, казалось бы, подтверждает виновность Пуликова: он ушел от Вильнер около полуночи, и не установлено, что кто-либо после него заходил к ней. А она найдена убитой. Нетрудно понять, что эту улику нельзя назвать серьезной. Ведь «не установлено, что кто-нибудь после Пуликова заходил» — отнюдь не означает, что никто и не заходил. Я мог бы ограничиться этим логическим постулатом. Но я обязан сказать, что следствие по делу об убийстве Вильнер повторило ту ошибку, от которой так настойчиво предостерегают следователей и которая все же нет-нет да и встречается на практике. Следствие оказалось в плену у версии, причем только одной версии, оно не исследовало других, хотя исследование их было совершенно необходимо.

Остается невыясненным — приходил ли кто-нибудь к Вильнер 26 марта после ухода Пуликова или нет?

Ответить на этот вопрос невозможно, пока не будет тщательнейшим образом исследован вопрос о пребывании в Ленинграде Тимакова.

Кто такой Тимаков и почему так важно исследовать вопрос о его пребывании в Ленинграде?

Во второй половине марта к Вильнер приехал ее давнишний знакомый Тимаков. Он жил у Вильнер, в ее комнате. Он был удобным и покладистым жильцом, — это все, что мы о нем знаем. Когда приходил Пуликов, Тимаков не без галантности вставал, уходил из дому и не появлялся до тех пор, пока не уходил Пуликов. Тогда вежливый и услужливый Тимаков возвращался под гостеприимный кров Марии Борисовны. Так было несколько раз.

Не возвращался ли 26 марта Тимаков к Вильнер после ухода Пуликова? Следствие отвечает: «Нет, не возвращался». Вопрос исследован, и ответ бесспорен: «Нет, не возвращался». Так ли точен ответ и верно ли исследовался этот вопрос — я отвечу несколько позже. Но прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте просить вас привлечь ваше внимание к некоторым, скажем так, особенностям поведения гражданина Тимакова.

Тимаков — служащий. В Ленинград он приехал по командировке из Калининграда. Каковы самые обычные и необходимые действия человека, приезжающего в командировку? Первым делом он обязан явиться в то учреждение, в которое командирован, и отметить. Тимаков этого не делает. Затем Тимаков уезжает из Ленинграда. Теперь уж совершенно необходимо отметить командировочное удостоверение, ведь без отметки Тимакову не уплатят ни за билет, ни за время командировки. Тимаков не отмечает командировки! Что же заставляет его пожертвовать своими деньгами? Больше того, он не имеет доказательств, что выполнил в командировке поручение, и ему грозит обвинение в прогуле.

Тимаков был допрошен. Он подтвердил: «Я не отметил командировки». Но следовательно, проявив редкую деликатность, так и не спросил Тимакова: «А почему вы не отметили ни приезда, ни отъезда?» А следовательно надо было спросить, что это за причина, по которой Тимаков не хотел, чтобы кто-либо знал, когда он уехал из Ленинграда. Ради этого Тимаков потерял свыше тысячи рублей командировочных.

Тимакова допрашивали проформы ради, так как считалось доказанным, что Тимаков уехал из Ленинграда 25 марта и, следовательно, к убийству непричастен. Чем

это доказывается? Оказывается, Тимаков представил заверенную копию командировочного свидетельства, в котором что-то, а дата прибытия в Калининград проставлена ясно: 27 марта! А если Тимаков прибыл 27 марта в Калининград, то из Ленинграда он выехал 25 марта. Копия командировочного удостоверения находится в деле. 25 марта Вильнер была жива.

Теперь о главном. С этим удостоверением ознакомился следователь, дату на удостоверении проверял прокурор, наблюдавший за следствием, изучал удостоверение и прокурор, поддерживающий обвинение, — все его видели и убедились, что действительно Тимаков прибыл в Калининград 27 марта. Но это есть и гипноз предубежденности: никто из них не заметил, какой же год указан в удостоверении? Число указано правильно — 27 марта, это верно, но... 1946 года, то есть года, предшествующего убийству!

Суд отказал мне в ходатайстве о доследовании, высказав предположение, что год проставлен ошибочно и что здесь могла быть просто описка. Но ведь год указан в удостоверении три раза: в дате выдачи удостоверения, в дате отбытия из Калининграда и в дате прибытия. Что же выходит — все три раза описка?

Но если предположить, что сотрудник, заполнявший командировочное удостоверение, три раза ошибался, то где уверенность в том, что, проставляя дату прибытия, он не ошибся еще раз. Где уверенность, что он написал «27 марта» тогда, когда нужно было написать «28 марта»? А если Тимаков приехал в Калининград 28 марта, то он был в Ленинграде 26 марта и пришел к Вильнер, как он это обычно делал, после ухода Пуликова. «Беспорное доказательство» отсутствия Тимакова в Ленинграде 26 марта оказалось весьма сомнительным. А коли это так, то нужно было тщательно, очень тщательно исследовать, зачем он скрывал свое пребывание в Ленинграде. Загипнотизированное удостоверением с отметкой «27 марта», следствие не тревожило Тимакова ни вопросами, ни сомнениями.

Мы сейчас увидим, что какую бы фантастическую историю ни рассказал Тимаков, следователь говорил «верю», а может быть, он даже говорил «верую»!

Выяснилось, что Тимаков производил расходы не по средствам. Тимаков пояснил, что он раньше времени

уехал из Ленинграда потому, что у него не осталось денег. Но было установлено, что в Москве он купил меховую шубку жене за 3300 рублей. Не без застенчивости следователь осведомился у Тимакова, откуда у него деньги. Тимаков, не смущаясь, поведал, что 3000 рублей он выиграл на скачках. Когда же ему напомнили, что шуба ведь стоила 3300 рублей, Тимаков сообщил, что те 300 рублей, которых ему не хватило на покупку шубы, он нашел у входа в универмаг. Следователь не изумился тому, что человек даже запланировал находку, отправляясь в универмаг.

Прибыв в Калининград, Тимаков, не уволившись с работы, уезжает, не сообщив своего нового адреса. Не сообщает он адреса и жене. Так продолжается два месяца. А следователь по-прежнему ничему не удивляется. Его не настораживает, что вслед за убийством Вильнер Тимаков почувствовал необходимость уйти от посторонних глаз и остается наедине с самим собой.

Когда Тимаков вернулся из неведомого «далека», следователь допросил его торопливо и небрежно. А нам здесь сказали, что все, что касается Тимакова, исследовано с необходимой полнотой и ничего подозрительного не обнаружено.

Что правда, то правда — Тимаков при допросе никаких подозрений на самого себя не выказал. Но, надо думать, это не самый надежный и точный способ проверки. Роль Тимакова в этом деле должна быть тщательно исследована. Там, где речь идет о 20 годах жизни человека, не может быть места для догадок и предположений. Там нужно, чтобы исчезло какое бы то ни было сомнение. Ведь чем суровее наказание, тем настоятельнее необходимость тщательного расследования дела.

Прав товарищ прокурор: облик Пуликова не светел. Но если бы я защищал праведника, то перед его светлым ликом обвинение поникло бы. Но я защищаю человека, относительно которого можно легко ошибиться. Я защищаю человека, в отношении которого судебная ошибка наиболее вероятна именно потому, что облик его не без пятен.

Если человек отбрасывает тень, и тень эта темная, то в ней легче всего гнездится судебная ошибка.

Есть у Пуликова темные стороны: и неряшливость

в связях, и способность к неправде, да и другие не очень приятные свойства. Но как это бесконечно далеко до готовности, до способности задушить женщину!

Для того чтобы Пуликов был осужден, необходимо, чтобы была полная, непоколебимая, законченная уверенность в том, что он убил, он, и никто иной. А такой уверенности нет и быть ее не может. Никто не вправе поручиться, что при повторном расследовании не будет найден и выявлен подлинный убийца. Я верю: еще увидит дело свет расследования.

Пока нет непоколебимой уверенности в том, что Пуликов совершил убийство, он осужден не будет.

# ДЕЛО ИВОЛГИНА

## ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ

О. С. Иволгин был предан суду по обвинению в том, что он, работая начальником Треста нежилого фонда, получил взятку за предоставление в аренду Обществу слепых помещения под мастерские.

Изобличал Иволгина в получении взятки свидетель Горский. В подтверждение своих показаний Горский привел против Иволгина ряд доказательств. Иволгин отрицал свою вину.

Вместе с Иволгиным суду была предана группа работников Общества слепых.

Дело слушалось в Ленинградском городском суде.

Публикуемая речь была произнесена при первом рассмотрении дела.

### *Товарищи судьбы!*

Обвинительное заключение в той его части, которая касается Иволгина, написано в том стиле, в каком обычно пишутся такие документы: язык лаконичный, лишенный каких бы то ни было проявлений чувств и переживаний. И тем не менее автор обвинительного заключения, сохраняя стиль нетронутым, сумел нарисовать на редкость трогательную, просто даже умильную картину сердечных мук и душевных подъемов свидетеля Горского. Картина получилась такая элегическая и настолько пронизанная сантиментом, что она может с успехом поспорить со святочными рассказами, что когда-то печатались в «Ниве».

Если обратиться не к словам, а к содержанию обвинительного заключения, то вот ведь как разворачи-

лись события в грустной истории о злокозненном подсудимом Иволгине и добродетельном свидетеле Горском.

Обществу слепых нужно было помещение под мастерские. В этих мастерских слепые должны были трудиться, чтобы почувствовать себя полезными и нужными людьми. Кто не ощутит в себе острого желания помочь слепым! В Тресте нежилого фонда было свободное помещение, пригодное для мастерских. Трест не только мог, но и обязан был сдать это помещение в аренду Обществу слепых. Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета обязал удовлетворять нужды Общества слепых в первую очередь. И все же бессердечный Иволгин, начальник Треста, не предоставил помещения под мастерские.

О нужде Общества слепых узнал Борис Борисович Горский. Он не имел никакого отношения ни к Обществу слепых, ни к Тресту нежилого фонда. Но разве на добрых чувствах должна стоять служебная печать? Борис Борисович Горский не мог оставаться равнодушным к страданиям обездоленных, и он решил вмешаться и исправить несправедливость. Конечно, делал он все это бескорыстно, даже не допуская и мысли о собственной выгоде. Он приносил на алтарь добрых чувств и свое время, и свой труд. Кто решится в этом усомниться?

Горский явился к Черноволенко, члену Правления Общества слепых, и предложил: «Поручите мне хлопотать о помещении, и оно будет вашим!» При этом ничего худого, а тем паче противозаконного Горскому и в голову не приходило. Он свято и чисто верил в добрые начала в человеке, он верил, что придет к Иволгину, просветит его насчет того, как важно помочь слепым, и тот, конечно, растрогается и сдаст помещение в аренду.

Но, увы, этой беспорочной и чистой вере Бориса Борисовича Горского был нанесен жестокий удар. Сколько ни взывал он к добрым чувствам Иволгина, они в нем не пробудились. Мало того, перед Горским во всей своей неприглядности раскрылась горькая правда: чтобы получить помещение, нужно не обращение к состраданию, а взятка. Борис Борисович был ошеломлен, — так он и сказал. Он был ошеломлен, но не обез-

оружен. Ошеломлен, но не до такой степени, чтобы забыть о слепых. Ошеломлен, но не так, чтобы отступить. И Горский решает: он не пощадит себя, он подставит себя под удар, он пойдет на преступление, он даст взятку — но слепые получают мастерские! Если уж когда-то было решено, что «Париж стоит мессы», то почему бы Горскому не решить, что «мастерские стоят взятки»!

Горский возвращается к Черноволенко и излагает ему свой план: он, Горский, берет на себя самое трудное — передаст взятку Иволгину; пусть Черноволенко возьмет на себя самое легкое, пусть он раздобудет деньги для взятки. Образ Черноволенко не напишешь акварелью. Мысль о взятке Черноволенко не пугает, его заботит другое: размер взятки. Но тут Горский непреклонен. Он заявляет, что Иволгин, правда, ничего не говорил ему о размере взятки, но он, Горский, палладин милосердия, не допустит, чтобы помещение не досталось слепым из-за скаредности Черноволенко. С яростью, которая объясняется, конечно, только бескорыстием и альтруизмом, Горский вступает в торг с Черноволенко и старается убедить его не скупиться — чем крупнее взятка, тем обеспеченнее успех. Горский побеждает в этом споре и получает 10 000 рублей<sup>1</sup>. Эти деньги Горский передает Иволгину. Само собой разумеется, передает полностью, даже не помышляя о том, чтобы оставить себе хоть малую толику. Сама мысль о чем-нибудь подобном является кошунством, если дело касается Бориса Борисовича Горского.

Помещение предоставлено. Мастерские для слепых размещены. И тогда к Горскому приходит просветление. Он постигает, что давать взятки преступно, и его начинает мучить раскаяние. Совесть, «когтистый зверь, скребущий сердце», не дает Горскому покоя. Только в плохих пьесах человек перековывается мгновенно. Но Горский не таков — его грызет совесть, он беспощадно корит себя и... молчит. Целый год молчит! Проходит второй год. Совесть, «заимодавец грубый», все острее и сильнее донимает Горского. Борис Борисович мучается, терзается, но молчит. Вот и третий год проходит. Совесть не утихает, она бушует в Горском. А он все

---

<sup>1</sup> В старом масштабе цен.



еще молчит. Борис Борисович, не мучайтесь, облегчите совесть, заговорите!

Наступает октябрь. Борются с совестью Горский больше не в силах, и он является к следователю с повинной. Горский сам привел себя на суд, на кару. Но добродетель всегда вознаграждается, и следователь разъясняет Горскому то, о чем тот и не подозревал; следователь разъясняет ему, что он освобождается от ответственности, так как добровольно заявил о взятке.

И вот про Бориса Борисовича Горского, про человека, измученного совестью, про жертву сердечных порывов, Иволгин решает сказать, что он, Горский, клеветает и обманывает, что он, Горский, не только не передавал ему никаких денег, но просто-напросто сам все их прикарманил. Подумать только — такое сказать про Горского!

А вам, товарищи судьи, нужно решать, кто из них, подсудимый Иволгин или свидетель Горский, говорит правду.

Казалось бы, тут и решать нечего: подсудимый прибегает к неправде, чтобы уйти от ответственности, а неправда не только не сулит свидетелю никаких выгод, но может обернуться для него бедой. Есть еще одно соображение в пользу того, что Горский не осквернил свои уста неправдой. Сам Иволгин признаёт, что Горскому не за что мстить ему, что Горский не мог питать к нему злобы, что в прошлом они никак и нигде не сталкивались. Зачем же стал Горский клеветать на Иволгина? О, если б на нас клеветали только наши враги, как резко уменьшилось бы число клеветников!

И все же у Горского были основания, и весьма серьезные, клеветать на Иволгина. Для того чтобы решить, кто из них — Иволгин или Горский — говорит правду, необходимо расстаться с крайне наивным представлением, что клевета и ложь не сулят никаких выгод Горскому. Сулят! И немалые.

В постановлении следователя написано, что сообщение Горского о даче взятки было добровольным. Так ли это?

Нет, не совесть, а расчет, точный и очевидный расчет привел Горского к следователю. Горский шел к следователю, зная, что тому известно о том, что им, Гор-

ским, получены от Черноволенко 10 000 рублей и что не сегодня-завтра его призовут к ответу.

Черноволенко был арестован в начале сентября. Горский мог надеяться, что Черноволенко промолчит о взятке, не станет сам себя изобличать. Во второй половине сентября были арестованы два других члена Правления Общества слепых и главный бухгалтер. Горский знал, что взятка ему передана с ведома и согласия всех тех, кто арестован. Опасность разоблачения становилась все более и более реальной. Но Горский все же на что-то еще надеялся и молчал. К следователю он не спешил.

В начале октября Горский встречает свидетельницу Мельшагину, секретаря Черноволенко, и она хоть и не очень деликатно, но совершенно искренне удивляется: «А вас еще не забрали?» Горский соображает: надеяться не на что, слишком много людей знают о взятке, разоблачение неминуемо. И он прав. Ведь еще 4 октября Черноволенко показал на допросе, что Горскому были вручены 10 000 рублей. А явился Горский к следователю только 14 октября, то есть спустя 10 дней после признания Черноволенко. Горский, естественно, не знал точно дня, когда Черноволенко сделал свое признание, но он не мог не понимать, что разоблачение наступит неизбежно. И понимал, отличнейшим образом понимал, что если он промедлит и не сам придет, а его вызовут, то тогда ему трудно будет, очень трудно будет убедить, что действовал он только из любви к ближнему и что денег он у себя не оставлял.

Горскому предстояло сделать выбор: или подождать, пока его вызовут, и тогда отвечать за подстрекательство к даче взятки, за подстрекательство, связанное с обманом и присвоением денег, или изобразить этакую добровольную явку с повинной, заявив, что деньги он брал, конечно, не для себя, а для Иволгина, и тем самым уйти от ответственности.

И Горский выбрал явку с повинной! Удивляться его выбору не приходится.

Как видите, для того чтобы возвести обвинение на Иволгина, у Горского были побудительные причины, и очень весомые. Поэтому спор о том, кто из них двоих говорит правду, нельзя решать, наперед провозглашая правдивость Горского якобы по той причине, что кому-

кому, а Горскому, дескать, лгать незачем. Незачем наперед провозглашать и правдивость Иволгина. Чтобы верно разрешить их спор, нужно обратиться к анализу доказательств.

Позвольте начать исследование доказательств с разбора того заявления, которое Горский принес следователю в свой первый приход. В этом заявлении, стыдясь и каясь, каясь и стыдясь, Горский упорно гнет одну и ту же линию: во всем виноват Иволгин. Это заявление написано Горским у себя дома, в спокойной обстановке, в условиях, когда каждое слово можно обдумать, взвесить, оценить, когда любую неудачную мысль можно заменить и исправить. Словом, это заявление — плод, если не «сердца горестных замет», то уж во всяком случае «ума холодных наблюдений». Заявление написано без единой помарки, без всяких поправок, оно явно переписано набело. Тут уж Горский не сможет сказать, что он неточно выразился, что-то в спешке напутал, сгоряча сболтнул лишнее. Заявление можно и нужно считать точным и верным отражением мыслей и чувств Горского.

Я сказал «и чувств» потому, что в своем заявлении Горский больше места отводит чувствам, чем мыслям. Фактам же отводится еще меньше места, чем мыслям. Для фактов там почти не осталось места. И тем не менее их оказалось достаточно, чтобы против воли Горского многое выявилось.

В заявлении Горский мельком, мимоходом, таким деликатным психологическим пунктиром, но все же признаёт, что он сам вызвался передать взятку. И тут же он поясняет, что сделал это из-за человеколюбия, из сострадания к страждущим. А сразу же за признанием в заявлении следует взрыв благородного негодования. Горский возмущен тем, что руководитель учреждения, облеченный доверием, взял взятку, и он, Горский, сообщает об этом, чтобы по мере сил положить конец взяточничеству. Только подумать — Горский, сам вызвавшийся передать взятку, этот взятокодатель-доброхот, взятокодатель-доброволец, рядится в тогу борца со взяточничеством.

Если бы тут была только демагогия, только спекуляция на добрых и чистых чувствах, мы бы, разгадав это, могли, брезгливо поморщившись, пройти мимо. Но ведь

это не только демагогия, это попытка заявить: «Когда я писал заявление, ничто, кроме священного гнева против взяточничества, мною не руководило. Я, дескать, ваш единомышленник. Так как же можно не верить мне?»

А вот мы не поверим словам Горского, не возьмем Горского в единомышленники, и проверим все его показания, начиная с заявления.

В этом заявлении есть одно, заслуживающее особого внимания, признание: «Я предложил Черноволенко помочь ему в получении помещения».

Черноволенко и Горский — малознакомые люди. И тот и другой работают на предприятиях, которые размещены внутри Гостиного двора. Они изредка встречались, идя на работу или возвращаясь домой, примелькались друг другу, иногда обменивались на ходу ничего не значащими замечаниями. Вот и все, что их связывало. В одну из таких мимолетных встреч Черноволенко сказал, проходя мимо пустующего помещения: «Вот бы нам получить его для наших мастерских». Черноволенко сказал это, нисколько не думая, не рассчитывая, что Горский сможет оказать какое-либо содействие в получении этого помещения. Увидел пустующее помещение и подумал вслух: «Неплохо было бы его получить». Так объяснял Черноволенко на очной ставке с Горским.

Итак, запомним: Черноволенко ни к кому и никуда еще не обращался, чтобы получить в аренду помещение, и поэтому, естественно, ему никто в аренде и не отказывал.

Интересы слепых еще никто и никак не ущемлял. И как отнесется трест к просьбе об аренде помещения, никто еще не знал. С чего это вдруг Горский загорелся и воспылал желанием устранить несправедливость, которую еще никто не допустил? С чего бы это Горскому брать на себя хлопоты, которые, возможно, и не потребуются?

Черноволенко показывает, а Горский этого не опровергает, что он, Горский, без всякого почина Черноволенко, больше того, совершенно неожиданно для того предложил свои услуги и сам вызвался хлопотать о сдаче в аренду помещения под мастерские.

Черноволенко удивился такой прыти Горского и спросил, почему он считает, что ему удастся получить помещение в аренду.

«Не спрашивайте! Увидите результаты!» — не без такой многозначительности ответил Горский.

Черноволенко воспринял намек, так сказать, на ходу, но еще не дал согласия. Ему нужно было подумать, посоветоваться с другими.

Показания Черноволенко в этой части в основном совпадают с заявлением Горского, дающего, правда, несколько более сложное и возвышенное психологическое объяснение своим действиям. Но самое главное здесь в том, что факты-то признаются! А если это так, то неизбежно возникают два вопроса.

Первый вопрос — что могло побудить Горского взять на себя хлопоты по получению в аренду помещения для совершенно посторонней организации?

И второй, пожалуй, еще более трудный для Горского вопрос — какие у него были основания заверять, что он скорее и успешнее, чем официальный представитель официальной организации, добьется сдачи помещения в аренду?

Начнем со второго вопроса: Ведь его в свое время Горскому задал и Черноволенко. Этот вопрос задал ему и следователь.

Горский работал мастером небольшого цеха небольшой мастерской, никак и ничем не связанной с трестом, от которого зависела сдача в аренду помещения.

Горский не отягощен славой, не обременен почестями. Он не выполняет никакой особой, ответственной работы. Горского не волнуют лавры Цицерона, он на них никогда и не претендовал.

Так что же давало Горскому основание заверять, что он сделает то, что будет не под силу совершить Черноволенко?

Горский мялся, старался увильнуть от ответа, пытался отделаться от него общими фразами, но наконец буквально выжал из себя: он, видите ли, рассчитывал на свое знакомство с Иволгиным. Но ведь сказать — не значит доказать. И Горскому пришлось уточнить и время возникновения его знакомства с Иволгиным, и характер этого знакомства. И выяснилось, что несколько лет тому назад (не то 4 года, не то 5 лет) Горский работал мастером в одной из многочисленных мастерских, принадлежавших тресту, начальником которого был Иволгин. По характеру своей работы Горский прак-

тически не сталкивался с Иволгиным. Докладов и отчетов по своей работе Горский Иволгину не представлял. Принимал Горского на работу и увольнял не Иволгин, а начальник мастерской. За время своей работы Горский ни по каким вопросам не обращался к Иволгину, как, впрочем, и Иволгин не обращался к Горскому. Несколько раз за время работы Горского в мастерской треста Иволгин по делам службы наведывался в мастерскую. Там его и видел Горский. Горский утверждает — и тут нет оснований спорить, — что во время этих посещений между Горским и Иволгиным велись какие-то служебные разговоры. Иволгин не подтверждает, но и не отрицает этого. Он просто не помнит Горского.

— И больше нас ничего не связывало? — спросил Иволгин Горского на очной ставке.

— Больше ничего, — ответил Горский.

Горский рассчитывал, что если он скажет: «Я надеялся на знакомство», то никто и не станет выяснять, о каком знакомстве идет речь, что при слове «знакомство» в сознании возникает мысль о близких связях, о тех отношениях, когда «для милого дружка и сережку из ушка». Горский скажет: «Я надеялся на знакомство», и ему поверят. Но расчет Горского не оправдался. Если раскрыть подлинный характер «знакомства» Иволгина с Горским, то никакого, строго говоря, знакомства между ними нет, и уж во всяком случае это «знакомство» не давало Горскому ни малейшего основания рассчитывать на особое благорасположение, на готовность сделать для Горского то, что не было бы сделано для другого. Так зачем же Горский сказал Черноволенко: «Не спрашивайте! Увидите результаты!» Зачем же он стал многозначительно намекать на те отношения с Иволгиным, которых у него не было? Зачем Горскому этот обман?

Подождем с ответом на этот вопрос. Немного позже он будет дан. А пока не забудем, что свою деятельность по хлопотам об аренде помещения Горский начал с обмана.

Теперь же вернемся к первому вопросу: что же побудило Горского взяться за хлопоты о помещении?

Черноволенко не затрудняется в поисках ответа на этот вопрос. Он говорит: «Когда Горский пришел в Правление и предложил мне, что он возьмет на себя

хлопоты по аренде помещения, мне было ясно, что он хочет „подзаработать“».

Горский гневно отвергает оскорбительный домысел Черноволенко. Не понял, не оценил Черноволенко «души высокое стремление». Ведь Горский был во власти возвышенных чувств, а Черноволенко позволил себе говорить о желании «подзаработать». Может быть, Горский прав? Посмотрим.

В своем заявлении, в том самом, которое написано дома и в котором все выверено и вымерено, Горский пишет: «Я узнал, что в помещении было отказано, и был возмущен». Неосторожно это написал Горский, ох как неосторожно! Ведь мы-то теперь знаем, что Горский предложил свои услуги еще до того, как Общество слепых обращалось в трест с просьбой об аренде свободного помещения. Поэтому вполне естественно, что никакого отказа не было и не могло быть. Так с чего бы это возмущаться Горскому? Выходит, что объяснения Горского о том, что он жаждал не заработков, а лишь исправления несправедливости, выходит, что эти объяснения, как бы это помягче сказать, не находятся в соответствии с действительностью.

Почему Горский на очной ставке с Черноволенко так возражал против предположения, что он хотел «подзаработать»? Казалось, чего тут необычного или оскорбительного? Человек берется хлопотать, тратит время и силы и считает себя вправе получить за это некоторое вознаграждение. Но тогда — и в этом все дело — он должен будет тут же признать, что часть из 10 000 рублей он хотел оставить себе. Ведь он от Черноволенко ничего, кроме 10 000 рублей, не получил. И если он взял себе вознаграждение, то только из этих денег. А ведь Горский заверяет, что полностью передал их Иволгину. Для Горского сознаться, что он взял себе хоть 100 рублей, — значит сознаться в том, что он хоть немного, но оклеветал Иволгина, преувеличил его вину. Вот поэтому и ссылается Горский, вопреки здравому смыслу и правде, на высокие мотивы и чистое бескорыстие, двигавшие им.

Если теперь нам понятно, почему Горский стал предлагать свои услуги, то поначалу может показаться неясным другое — почему Черноволенко решил прибегнуть к помощи Горского, не пытаясь сам получить в аренду

нужные помещения? Здесь, на суде, Черноволенко дал ответ на этот вопрос: «Я поверил, что у Горского имеются связи, и действовать через него будет вернее».

Зачем же нужны связи, обходные пути, чтобы добиться удовлетворения законного требования? Черноволенко — сравнительно молодой человек. Он окончил среднюю школу, несколько лет трудился на заводе, свыше 10 лет работал в Обществе слепых. Трудно понять, как и когда он сумел проникнуться подобной, насквозь деляческой, в самом худшем смысле этого слова, психологией. Мысль о том, что можно что-либо получить прямым и открытым путем, кажется ему наивной, оторванной от жизни. Черноволенко из тех, кто верит, что все решается знакомством, кумовством, связями. Черноволенко из тех людей, которые, войдя в трамвай, задумываются: а через кого найти ход к кондуктору, чтобы она продала билет? Когда Горский сказал: «Поручите мне, и вы увидите результаты», то он, быть может и не зная этого, нащупал самое уязвимое место в Черноволенко, он сыграл на вере, нерассуждающей вере Черноволенко, что связи решают все.

Так «высокие договаривающиеся стороны» — Черноволенко и Горский — пришли к взаимному пониманию. А мы получили ответ на первый вопрос, вопрос о мотивах действий Горского.

Но ответ этот не полный. Горский действительно не требовал вознаграждения за свои труды. Если бы он попросил уплатить ему за хлопоты, он получил бы (и это Горский отлично понимал) какую-то незначительную сумму. Но вот если он внушит, что деньги нужны не для его вознаграждения, а для дачи взятки, и не кому-нибудь, а начальнику треста, то тут есть где размахнуться, тут уж можно многое потребовать, тут уж тысячами пахнет. Может быть, это только мой домысел, игра излишне резвой мысли, одно только предположение? Если бы это было так, то это совершенно недопустимо. Не иметь доказательств, только предполагать и возводить на свидетеля (а Борис Борисович Горский только свидетель, конечно, не обвиняемый, а свидетель) такое обвинение действительно недопустимо. Но ведь имеются доказательства! Это — показания Черноволенко и Герасимова.

Черноволенко показал: как только он согласился на



то, чтобы Горский добивался предоставления помещения, тот осведомился, весьма деликатно осведомился, не называя грубо взятки взяткой, согласен ли Черноволенко понести расходы, которые, очевидно, будут неизбежны. Вот как, оказывается, вежливо называется взятка: «Понести расходы!» Но главное здесь то, что Горский осведомился об этом.

Горский начисто отвергает показания Черноволенко: он, мол, не говорил ни о каких расходах, ему даже и в голову не приходило, что вопрос о взятке может возникнуть. Да и как ему не отвергать показания Черноволенко? Ведь если их подтвердить, то это означает только одно: возьмет или не возьмет деньги Иволгин — это еще неизвестно, а что их заполучит Горский — это бесспорно.

Имеются ли какие-либо основания не доверять показаниям Черноволенко? Ведь, показывая о том, что он давал Горскому согласие на взятку еще до того, как Общество слепых обратилось в трест с просьбой об аренде помещения, Черноволенко свидетельствует и против себя. Черноволенко понимает, что инициатива во взяточничестве — отнюдь не то преимущество, за которое в суде следует бороться; Черноволенко понимает, что он ухудшает свое положение, признавая, что он не был поставлен перед неожиданным требованием дать взятку под угрозой отказа, а дал согласие на взятку, не зная даже, готовы ли в тресте ее принять. Показания Черноволенко изобличают его самого не меньше, чем Горского. Следовательно, брать под сомнение его показания у нас нет оснований.

Но ведь нужно помнить и то, что Горский изобличен не только показаниями Черноволенко.

Черноволенко объяснил, что он не мог один решить вопрос о выделении денег на взятку. Этот вопрос он решал совместно с Герасимовым. Герасимову Горский также заявил, что нужно будет передать взятку. Заявил до того, как начались хлопоты об аренде. И Герасимов все это подтвердил.

Вот теперь уже можно считать полностью установленным тот мотив, который побуждал Горского взяться за хлопоты по аренде помещения.

Но как он решился взяться за эти хлопоты, если не имел оснований считать, что они увенчаются успехом?

На этот вопрос ответить очень несложно. Горский, не

в обиду будь сказано Черноволенко, быстрее и лучше его соображает. Горский имел все основания рассчитывать на то, что к просьбе Общества слепых отнесутся внимательно и помещение сдадут в аренду. Если эти обоснованные надежды оправдаются, то Горскому перепадет немалый куш. Если же (что мало вероятно) в просьбе откажут, то он, Горский, ничего не потеряет, кроме нескольких часов. Предлагая свои услуги Черноволенко, Горский действовал беспронимательно. Вот вам и ответ на второй вопрос, вопрос о том, как решился Горский, если он не был связан с Иволгиным, взять на себя хлопоты по получению в аренду помещения.

Объективности ради следует признать, что если даже считать установленной вину Горского в преследовании корыстной цели, то это отнюдь не исключает вины Иволгина. Ведь могло быть и так: для того чтобы побольше урвать денег, Горский заявил Черноволенко, что Иволгин требует взятку в 10 000 рублей, а сам передал Иволгину не всю сумму, а только часть ее. Если Горский действовал из корысти, то из этого не следует, что Иволгин бескорыстен; если Горский уличен в неправде, то это еще не означает, что он оболгал Иволгина. Мы только установили, что у Горского были мотивы оболгать Иволгина и это могло принести ему немалые выгоды. Теперь наша задача состоит в том, чтобы доказать, что Горский оговаривает Иволгина.

Горский приводит ворох (иначе не назовешь) доказательств того, что Иволгин получил взятку. Тут есть соображения серьезные, тут есть соображения случайные, тут есть соображения и вовсе ни с чем не соотносимые. Все здесь перемешано. И приходится только удивляться тому, что все эти соображения приняты следователем на веру.

Когда приводится слишком много доказательств, это свидетельствует лишь об их слабости.

Первым и самым убедительным доказательством того, что Иволгин получил взятку, Горский считает тот несомненно установленный факт, что поначалу Иволгин отказал в предоставлении помещения, а затем принял прямо противоположное решение: сдать помещение в аренду.

Горский поясняет: «Пока я не предлагал взятки, мне отказывали, а как только я согласился дать взятку,

невозможное стало возможным, недопустимое стало допустимым, и помещение, которое никак нельзя было раньше предоставить, было мне с готовностью сдано». Горский добавляет: «Ведь за эти 5 дней, что прошли между отказом и согласием, ничего не изменилось; помещение не стало хуже, а нужда в нем не стала меньше». Этому доводу Горского нельзя отказать в убедительности. И в самом деле, чем может Иволгин объяснить изменение своего отношения? Отвечая на этот вопрос, не будем впадать в крайности — отбросим и подозрительность, и доверчивость. Обратимся к фактам.

21 июня к Иволгину поступило заявление Общества слепых. Это видно из журнала регистрации почты. Получив 21 июня заявление Общества слепых, Иволгин мог дать только один ответ, и никакого другого. Иволгин мог только отказать. Ничего иного Иволгин 21 июня не мог сделать, так как помещения № 80 и 81, о которых просило Общество слепых, были заняты под кладовые треста и в аренду сдаваться не могли.

Заявление смотрителя здания оглашалось в суде, смотритель здания допрашивался и показал то, что я здесь повторяю.

Но если Иволгин не мог их сдать 21 июня, то как же он мог их сдать спустя 5 дней? «Ничего не изменилось», — утверждал Горский, а за ним и следствие. Нет, изменилось! И при этом решающим образом! 23 июня, через два дня после отказа Иволгина, смотритель здания по собственной инициативе, без всякого побуждения со стороны Иволгина, — и это с исчерпывающей точностью установлено при допросе смотрителя здания, свидетеля Силовцова, — просил разрешения освободить помещения № 80 и 81 и перевести кладовые в другое, более пригодное помещение, уже оборудованное стеллажами и неожиданно освободившееся. Перевод этот явно целесообразен и выгоден, и поэтому помещения № 80 и 81 освобождаются. Теперь-то их можно сдать в аренду. Если 21 июня Иволгин не мог и не должен был сдавать их, то 23 июня он может и он должен сдать их в аренду. И Иволгин поступает так, как ему велят долг и совесть: он дает распоряжение секретарю известить Общество слепых, что оно может получить помещения в аренду.

Горский утверждал, что отказ Иволгина был тем ры-

чагом, с помощью которого Иволгин рассчитывал выжать взятку. Горский говорит: «Я вернулся через 5 дней к Иволгину, сообщил ему о том, что даю взятку, и тогда Иволгин согласился предоставить помещение».

А вот факты, неопровержимые факты: дата на письме треста о согласии на сдачу в аренду, показания секретаря, свидетельницы Манойловой, наконец, само письмо треста — все это свидетельствует о том, что согласие было дано Иволгиным до вторичного прихода к нему Горского, до того прихода, когда, по словам Горского, он сообщил, что взятка будет дана.

Утверждение Горского, что Иволгин, только получив взятку, дал согласие на предоставление помещения, не выдержало проверки фактами. Но у Горского в запасе, как мы знаем, не одно это доказательство. Когда опровергается одно доказательство, он выдвигает другое.

Оформление документов на аренду помещений проходило, по словам Горского, в таких необычайно быстрых, просто молниеносных темпах, которые сами по себе свидетельствуют о заинтересованности Иволгина. Взятка, говорил Горский, подстегивала Иволгина.

Следствие получило некое подобие подтверждения слов Горского.

Между подачей заявления в трест и выдачей ордера проходит в среднем около месяца. А вот между заявлением Общества слепых и выдачей ордера прошло только 12 дней. И объяснить это сочувствием к Обществу слепых нельзя, ибо в прошлом году, когда оформлялась аренда на другое помещение для этого же Общества, разрыв между днем подачи заявления и днем выдачи ордера был даже больше месяца.

Хотя сокращенный срок оформления ордера и не может считаться прямой уликой, но пренебрегать им не следует. Если Иволгин в самом деле принимал какие-то сверхординарные меры к ускорению, то это может показаться подозрительным, может, в известной степени, служить подтверждением заявления Горского, что взятка оказалась катализатором событий.

Но с цифрами нужно обращаться осторожно. Да, средний срок оформления ордера 30 дней. Да, договор аренды для Общества слепых был оформлен за 12 дней. Но он был оформлен в июне. И мы в суде проверили сроки оформления договоров по месяцам. И выяснилось,

что в июне, то ли потому, что это первый летний месяц — разгар ремонтных работ, а пока они идут, помещения не сдаются, то ли по какой-нибудь иной причине, но в июне большинство договоров оформлялось в сроки от 10 до 18 дней. Следовательно, 12 дней оформления документов для июня срок обычный. И, значит, версия взятки-катализатора рушится.

Но Горский не унывает. У него есть еще порох в пороховницах. Горский припас еще одно доказательство личной, кровной заинтересованности Иволгина в убоготворении Общества слепых: Иволгин сделал такую поблажку, которую уж ничем, кроме взятки, не объяснишь. Общество просило предоставить ему два рядом находящихся помещения под мастерские. Нужда в помещениях велика, и спрос на них немалый. Общество слепых и не решалось просить больше чем два помещения. А что сделал Иволгин? Он сдал в аренду не два, а три помещения, сдал больше, чем просили, сдал больше, чем сам определил в своей собственной резолюции. Откуда же такая щедрость? У Горского ответ готов: взятка! Это она родила эту щедрость.

Как и прежние доказательства, приводимые Горским и повторенные автором обвинительного заключения, они, на первый взгляд, не лишены убедительности. Но прибегнем к правилу, которым никогда нельзя пренебрегать, — сопоставим предположения с фактами. Действительно, Обществу слепых сданы в аренду три помещения: № 80, 81 и 82. К договору аренды приложен план. План этих помещений имеется в деле. План был тщательно рассмотрен и проверен в суде. И выяснилось, что помещение № 82 самостоятельного выхода не имеет, пройти в него можно только через помещение № 81.

Сдать помещение № 82 иному арендатору невозможно. Следовательно, если Обществу слепых, которое сняло помещения № 80 и 81, не сдать и помещение № 82, то оно будет пустовать. Так что же целесообразнее — оставить помещение пустующим, не получать за него арендной платы и этим самым причинять временный ущерб государству, или сдать его тому единственному арендатору, которому только и можно сдать? Едва ли ответ на этот вопрос вызывает затруднения. Следовательно, еще одно «доказательство», выдвинутое Горским, потерпело судьбу предыдущих.

Я позволю себе оставлять без возражения некоторые из доводов Горского, которые он считает доказательствами вины Иволгина, вроде того, что вина Иволгина подтверждена тем, что он на очной ставке не задавал вопросов Горскому. Иволгин, дескать, боялся, как бы ответы Горского не изобличили его. Иволгин действительно заявил, что с клеветником ему не о чем говорить. Разумно поведение Иволгина или неразумно — это вопрос иной, но то, что не каждый может заставить себя общаться с клеветником, не нуждается в пояснениях.

На следствии были выдвинуты и другие соображения в доказательство вины Иволгина, например превышение им своих прав при заключении договора: Но товарищ прокурор признал несостоятельность этих доводов следствия, и пытаться мне их опровергать — значило бы необоснованно преувеличивать их значение.

Теперь, пожалуй, пора перейти к итогам. Можно считать установленным, что против Иволгина имеется только одно-единственное, пребывающее в полном одиночестве доказательство — показания Горского. Даны ли они из добрых или худых побуждений, однородны ли они или полны противоречий — все равно они являются доказательством и подлежат оценке. Какими бы они ни были в своей сущности, это не освобождает нас от необходимости решить спор: кто же из двоих прав, Олег Сергеевич Иволгин или Борис Борисович Горский?

Мы уже проверили, в какой степени показания каждого из них подтверждаются объективными доказательствами. Сейчас для окончательного разрешения спора нужно еще одно усилие, правда немалое; нужно рассмотреть в характер, биографию каждого из них, нужно сопоставить облик Иволгина и облик Горского.

Олег Сергеевич Иволгин — комсомолец овечьих легенд кипучих и трудовых лет первых пятилеток. Он — член Коммунистической партии свыше четверти века. Четверть века без малейшего пятнышка, без даже случайной тени в биографии, четверть века достойного и верного служения делу партии. Долгий, многолетний путь умелого, напряженного и, позвольте мне это сказать, умного труда, труда, который с каждым годом делался все полезнее и нужнее. И вот пришла она, самая большая и самая ценная награда — пришло доброе имя, пришло общественное признание. На глазах у сотен и

сотен людей протекает жизнь Олега Сергеевича Иволгина. И все, кто знает, единодушны в своем мнении о нем: Иволгин чистый душой и ясный разумом человек; если он строг, то в первую очередь к себе самому; если горд, то только тем, что имеет право всем прямо смотреть в глаза.

Борис Борисович Горский. О нем мы знаем меньше, и все же достаточно. Мы знаем с его слов о четырех последних годах его жизни. За четыре года он трижды менял место работы. Это не может особенно поразить. С людьми, которые то и дело меняют место своей работы, еще приходится сталкиваться. Для них в народе даже припасено достаточно выразительное словечко. Удивительно другое: непостижимая быстрота, с которой Борис Борисович осваивает новые профессии. Он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Четыре года назад Горский работал в артели мастером по изготовлению резиновой обуви. Спустя год с небольшим Горский расстается с артелью по изготовлению резиновой обуви и переходит работать мастером (снова мастером!) по изготовлению грамофонных иголок. Но и тут Борис Борисович не нашел себя. Проходит короткое время, и Борис Борисович, влекомый тягой к перемене мест, становится... ну, конечно, мастером в цехе по пошиву рукавиц. Что и говорить, рукавицы — изделие нужное, иногда просто необходимое. Только злоязычные люди могут сказать, что рукавицы тем хороши, что если прилипнет ненароком что-либо к рукам, вденешь их в рукавицы, может, никто и не заметит. Но в своем рукавичном деле, в том самом, работа в котором не мешала хлопотам об аренде помещения для Общества слепых, Борис Борисович занимал, я бы даже сказал, несколько таинственную должность: он был мастером по координации. Нет, не мастером по пошиву, нет, мастером по координации. Так и называется его должность. Огромные цехи, цехи-гиганты, цехи Кировского завода и цехи «Электросилы» как-то обходятся без мастеров по координации, а вот цеху, в котором всего два десятка рабочих, без мастера по координации никак не обойтись.

Попробуем все же разобраться, что это такое «мастер по координации». Оказывается, «мастер по координации» — это нечто вроде снабженца, но с одним, весьма существенным «но»: он снабжает цех тем, на что

цех не имеет права. Скажем, нет у цеха фонда на машины, а они нужны, вот и начинает действовать «координация», и машины поступают. Шить нужно рукавицы из лоскута, а желательнее — из полноценной ткани, а на нее нет лимитов. Вот тут снова самая пора двинуть вперед «координацию». И тут Борис Борисович действительно мастер «по координации». «Мастер по координации» — фигура отнюдь не уникальная, встречается не так уж редко. «Орудием производства» у него обычно служат раскрытый портсигар («Закурите, пожалуйста»), намеки на обширные знакомства (которых, как правило, нет), ссылка на связи с ответственными товарищами, которые, кстати, и не подозревают, что на них ссылаются, и обещания, обещания, обещания, которые никогда не сдерживаются. Но у Горского есть еще одно средство воздействия, и он не сможет сейчас от него отказаться: если это выгодно, Горский может пойти и на преступление, пойти на взятку.

Вот они рядом: Иволгин и Горский. И если бы даже не было никаких доказательств, опровергающих показания Горского, все равно нельзя было ставить судьбу, ставить жизнь и доброе имя Олега Сергеевича Иволгина в зависимость от того, что скажет «мастер по координации».

Горский совершил преступление, преступным путем добыл 10 000 рублей, а когда узнал, что ему предстоит держать за это ответ, тогда он показал: «Я тут ни при чем, я лишь замученный совестью технический передатчик, я денег себе не оставлял, я отдал их Иволгину, его и судите, а меня отпустите». Так и было сделано!

Это не только несправедливо в отношении Иволгина, это и общественно недопустимо! Каждый честный гражданин должен быть уверен, что если его попытается оклеветать человек, совершивший преступление и стремящийся клеветой освободиться от ответственности, то следствие и суд встанут на защиту честного человека, и клеветник будет разоблачен.

Доброе имя — это не только достояние носителя его, это и наше общее достояние. Охранять и беречь его — наш долг. И я бы нарушил этот долг, если бы не просил вас о том, что является и справедливым и необходимым, если бы не просил вас: оправдайте Олега Сергеевича Иволгина, он не совершал преступления.



# ДЕЛО ПУТИЛОВЫХ

## ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА

В январе 1962 года Галина Путилова была доставлена в больницу с признаками отравления. Путилова пояснила, что она пыталась покончить с собой, не выдержав травли, которой она подвергалась в семье своего мужа — Дмитрия Путилова.

Допрошенная на предварительном следствии, Галина Путилова дала показания, послужившие основанием для предъявления обвинения Дмитрию Путилову и его матери, Ларисе Дмитриевне Путиловой, в том, что своим жестоким обращением они довели Галину до покушения на убийство.

Галина Путилова показала, что в 1956 году она вышла замуж и переехала в семью мужа. Дмитрий Путилов некоторое время относился к ней хорошо, но его мать, Лариса Дмитриевна, в первые же дни встретила ее враждебно, считая, что Галина не подходит как жена для Дмитрия. Под влиянием матери Дмитрий стал хуже относиться к своей жене. Отношения между ними все ухудшались и через два года превратились в открытую травлю Галины. Несколько месяцев назад Галина пыталась покончить с собой, но была спасена. Покушение на самоубийство никак не повлияло на отношения Путиловых к Галине. Травля продолжалась, и Галина была вновь доведена своим мужем и его матерью до покушения на самоубийство.

Дмитрий Путилов и его мать, Лариса Дмитриевна, опровергали показания Галины и утверждали, что они не только не подвергали ее травле, но относились к ней хорошо и заботливо. Показания Галины Путиловой они объясняли истеричностью ее натуры и неумением владеть собой. Путиловы брали под сомнение намерение

Галины покончить с собой, указывая, что принятая ею доза бромурала была заведомо не токсической.

Дело по обвинению Л. Д. Путиловой и Д. Путилова по ст. 107 УК слушалось в Невском районном народном суде. Д. Путилов был приговорен к одному году лишения свободы, а мать его, Л. Д. Путилова, к тому же сроку, но условно.

Приговор был обжалован, и Судебная коллегия Ленинградского городского суда прекратила дело, признав обвинение Путиловых недоказанным.

### *Товарищи судьбы!*

Когда думаешь о тягостной драме в семье Путиловых, то вновь убеждаешься в мудрости мысли Толстого о том, что все несчастные семьи несчастливы по-своему. Было бы неверно сводить драму в семье Путиловых к схеме в общем довольно заурядной и которая, к сожалению, все еще встречается в жизни: молодые люди поженились, вначале у них все шло хорошо, они любили и были нежны друг с другом, а потом наступило охлаждение, добрые чувства исчезли и постепенно их заменили горечь, обида и озлобление.

Нет, в семье Путиловых все было гораздо сложнее, и в привычный шаблон эти запутанные отношения не уложишь. Вопросы большого общественного значения подымает, казалось бы, заземленное бытовое дело Путиловых.

Чтобы правильно решить дело Путиловых, нужна не только напряженная работа мысли, необходимо еще освободиться от предвзятости. А по делу Путиловых освободиться от невольной, неосознанной предвзятости отнюдь не легко.

Молодая женщина, мать трехлетнего ребенка, на протяжении нескольких месяцев дважды решается покончить с собой. Конечно, самоубийство — акт душевной слабости, внутренней опустошенности. Мы не можем не осуждать самоубийство. Это верно. Но мы не можем и не понять, что только большое горе может толкнуть человека на этот страшный акт. И, осуждая самоубийство, мы вместе с тем испытываем жалость к тому, кто был измучен жизнью. Сострадая Галине Петровне Путило-

вой, мы, естественно, боимся невольно причинить ей, без того измученной, дополнительную боль и можем, поддавшись состраданию, принять на веру без тщательной проверки то объяснение, которое Галина дает сложившимся отношениям. Это объяснение Галина Петровна Путилова сделала искренне, взволнованно, со слезами на глазах.

Дополняя судебное следствие, Галина Путилова сказала: «Вы судите моего мужа, отца моего ребенка. Я знаю, что и мне и моему ребенку будет хуже, если вы осудите мужа. Я не хочу этого, и поэтому поверьте, что я ничего не преувеличивала, а сказала только правду».

Это звучит убедительно. Я не сомневаюсь в том, что Галина Путилова говорила искренне. Но говорить искренне — вовсе не значит говорить верно, точно отражать факты. Можно быть предельно искренним и при этом глубоко ошибаться. Искренность — не гарантия от ошибок и заблуждений.

Ведь совсем по-иному рисуют события и Дмитрий Путилов и его мать, Лариса Дмитриевна. И они тоже искренни в своих объяснениях.

Достоинно и сдержанно давала суду свои объяснения Лариса Дмитриевна Путилова. Она прожила большую и трудную жизнь. Не раз сталкивалась она с бедой и горем, но всегда с честью и достоинством, мужественно справлялась с ними. У нас нет права брать даже под малейшее сомнение искренность Ларисы Дмитриевны, как нет никаких оснований сомневаться в искренности и Дмитрия Путилова. Но ведь и про мать и сына Путиловых тоже можно сказать, что, как бы ни были велики их усилия верно и точно передать историю взаимоотношений в семье, они также могут добросовестно заблуждаться.

Близкие люди втянуты в острый конфликт, который измучил их и за который они платят душевной мукой. Могут ли они трезво, спокойно и верно судить друг о друге? Думается, ответ ясен. И потерпевшая и подсудимый (пока они еще так именуются) дают показания, которые при всей их искренности нуждаются в тщательной проверке, в сопоставлении с реальными, точно установленными фактами. Не будем спешить и заранее объявлять чьи-либо объяснения неверными, но не будем и

любые объяснения провозглашать непререкаемыми и не подлежащими проверке. Не будем считать их, так сказать, заповедными, куда закрыта дорога сомнению.

Все то, в чем обвиняются Путиловы, основано лишь на показаниях Галины Путиловой. Поэтому, естественно, и начинать нужно с проверки ее объяснений. Вспомним их, конечно, в самом кратком виде, так сказать, в экстракте. Вот что рассказала Галина.

Родилась она в рабочей семье. Жили в семье дружно. Галина сызмальства привыкла к труду. Достаток в семье был небольшой, и поэтому Галина, окончив 7 классов, оставила школу и начала работать. Городок, в котором жила Галина, не казался ей ни маленьким, ни тесным. Галина была довольна своей судьбой.

В этот городок приехал на время Дмитрий Путилов. Галина и Дмитрий познакомились, полюбили друг друга и поженились. Дмитрий привез Галину в Ленинград, к себе в семью.

Глава семьи, которого Галина не застала в живых, в свое время занимал высокое, очень высокое положение. Заведенные еще при нем порядки и обычаи в семье остались прежними. «Они вели себя как аристократы», — так сказала про Путиловых Галина. Простую, бесхитростную девушку-провинциалку встретили в семье плохо. Особенно плохо ее встретила мать Дмитрия. Всё в Галине ей не нравилось. Всё откровеннее она высказывалась, что Дмитрий сделал ошибку и взял себе в жены неровню. Матери Дмитрия не нравилось в Галине то, что она не имеет достаточного образования и что ее манеры плохи. Матери Дмитрия Галина казалась неотесанной. Вскоре Лариса Дмитриевна перестала сдерживаться. Она стала оскорблять Галину, унижать ее достоинство, а затем и травить, ко всему придираться. У Галины нет высшего образования — ее непрерывно этим попрекали; члены семьи Путиловых знали французский язык, и они это знание языка превратили в орудие пытки и издевательства. За столом о Галине говорили на французском языке, потешались над нею, пользуясь тем, что она языка не знает. Даже когда Галина заболела, они стали попрекать ее и этим и высказывали опасения, как бы она не заразила членов семьи, предполагая, что Галина больна туберкулезом. Но это еще

не все. Мать Дмитрия начала упорно настраивать сына против жены, вмешивалась в любую размолвку между супругами, раздувая ее до размеров острого и большого конфликта, всегда и во всем становилась на сторону сына. Дмитрий поддался влиянию матери и тоже стал плохо относиться к жене. Травля стала невыносимой. Еще в прошлом году Галина пыталась покончить с собой, но отравление оказалось незначительным. Попытка покончить с собой ничего не изменила в отношении Ларисы Дмитриевны и Дмитрия Путилова к Галине. И вот 12 января она попыталась второй раз покончить с собой. Обо всем этом мы узнали из показаний Галины.

Что и говорить — мрачную картину нарисовала Галина Путилова в своих объяснениях.

Мы слушали ее, не сопоставляя еще этого рассказа ни с какими фактами, ничем и никак не проверяя его, и у нас временами возникало какое-то неясное и беспокойное чувство. Что-то было в рассказе Галины такое, что мешало нам полностью ему поверить. Но что? И постепенно стал выкристаллизовываться ответ. О каком же времени говорит Галина Путилова? К какой эпохе относится то, о чем она вела свой рассказ? Ведь все то, что здесь она говорила, было бы совершенно уместно 50 лет назад, в Санкт-Петербурге, в семье вельможи, занесенного в шестую дворянскую книгу. Ведь здесь не хватало только таких слов, как «мезальянс», «голубая кровь», «не нашего круга».

Но, может быть, семья Путиловых — в самом деле осколок прошлого? Посмотрим.

Отец Дмитрия Путилова — муж Ларисы Дмитриевны — бывший петроградский рабочий, в грозные дни для молодой Советской республики вступил в красногвардейский отряд. Затем он стал солдатом Первого коммунистического полка Красной Армии. Он рос вместе со страной, прошел славный путь от рядового солдата до крупного военачальника Советской Армии.

Его жена — Лариса Дмитриевна — мать двоих маленьких детей (дочери тогда было четыре года, сыну — два), училась на 4-м курсе института, когда в 1937 году Путилов подвергся необоснованной репрессии. Молодая женщина, мать двоих детей, на которую обрушилось огромное горе, не потеряла веры в справедливость, не сломилась душой. Она продолжала учиться и воспитыв-

вать детей. Несмотря на большие трудности, Лариса Дмитриевна окончила институт. И детей поставила на ноги: дочь — молодой кандидат наук, сын получил высшее образование. Это крепкая, хорошая и подлинно трудовая семья. И вот эту семью Галина Путилова называет здесь, не краснея, семьей аристократов.

Не следовало так говорить Галине Путиловой о семье своего мужа. Но это вовсе не означает, что объяснения Галины о том, что ее затравили в семье, неверны. Нужно эти объяснения проверить.

Лариса Дмитриевна Путилова и ее сын Дмитрий утверждают, что Галину в семье встретили ласково и приветливо, даже любовно: Галина это решительно отрицает. Кто из них прав? Решить это нетрудно. Решение дает не кто иной, как сама Галина. Это она рассказывала о своем житье-бытье в семье мужа самым близким ей людям — своему отцу и матери. Отец Галины, свидетель Карамышев, давал показания: «Галина нам писала, а потом и рассказывала, когда мы приезжали навестить ее, что мать Дмитрия приняла ее как дочь и относится к ней так, что никакой разницы между нею и своей дочерью Лариса Дмитриевна не делает».

Как непохож рассказ Галины здесь на то, что она говорила своим самым близким людям!

Но, может быть, Галина стеснялась им сказать правду, может быть, не хотела огорчать отца? Нет, это не так. Она сказала отцу правду. И в этом нас убеждают показания свидетельницы Шариковой. Шарикова часто бывала в доме у Путиловых, она в добрых отношениях с Галиной. И эта свидетельница показала: «Они жили (это первые четыре года их жизни) так счастливо, что им можно было только позавидовать».

Но как же обстоит дело с теми упреками, о которых здесь с такой болью рассказывала Галина? Да, у Галины семиклассное образование. Это явно мало. И когда Галина приехала в Ленинград, то, заботясь о ней, и Дмитрий, и мать его предложили Галине: «Мы освободим тебя от всех забот по дому, ты не будешь вести никакого хозяйства, но ты поступи в техникум и учись». Галина соглашается: такое предложение ей кажется правильным. Она пишет об этом отцу, и он здесь все это подтвердил.

Лариса Дмитриевна Путилова помогает Галине в

учебе. Она даже делает за нее первые работы в техникуме. Но у Галины нет ни старания, ни внутренней организованности, ни желания учиться. Галина проучилась в техникуме всего один семестр и оставила учебу, вернее, была отчислена за неуспеваемость. Галине снова предлагали учиться, но она восприняла это предложение как упрек в своей необразованности.

Дмитрий Путилов работает референтом советского общества «Дружба с зарубежными странами». Ему необходима практика в языке. Поэтому Лариса Дмитриевна, ее дочь и Дмитрий говорят дома на французском языке. Они понимают, что в семье может создаться некоторое неудобное положение, если говорить в присутствии Галины на языке, которого она не знает. И они предлагают ей обучиться языку. Они предлагают ей на выбор: или они будут учить ее, так сказать, со слуха, или пригласят педагога, который обучит ее языку. Но ведь и то и другое означает — нужно учиться. А учиться Галина не хочет. И она отказывается от этих предложений.

В семье все реже говорят по-французски, но все же нет-нет да у кого-нибудь из членов семьи та или иная фраза (они ведь издавна привыкли упражняться в языке) изредка вырывается. И тогда Галина, не понимая, о чем говорят, считает, что это обязательно о ней говорят, и обязательно насмешливо. И тогда она учиняет скандал.

У Галины слабое здоровье. Она кашляет, но отказывается лечиться. Заботясь о ней, Галине предлагают: «Ты пошла бы к врачу, сделали бы снимок, просветили — ведь мало ли что может быть. Может быть, у тебя и очаг в легких есть, проверь себя». И эту заботу Галина умудряется рассматривать как издевательство. У нее сохранилось какое-то странное представление, что чахоточный — значит неполноценный, и раз не исключена возможность туберкулеза, то, следовательно, ее считают какой-то ущербной.

Как же могло случиться, что проявление заботы, внимания, доброго расположения воспринимались Галиной Путиловой как обида, оскорбление и унижение? Да и могло ли так случиться?

О том, что Лариса Дмитриевна и сам Дмитрий тревожились о здоровье Галины, стремились, чтобы она ле-

чилась, рассказывают не сами Путиловы. О попытках склонить Галину к изучению французского языка нам говорили свидетели Нормус и Великанова. Это удостоверено показаниями Карамышева и Шариковой. Да и сама Галина не отрицает этого.

Так почему же заботу и внимание, проявляемые к ней, Галина воспринимала как издевку и надругательство?

Отвечая на этот вопрос, мы даем ответ, имеющий немалое общественное значение.

Бывает так, что человек, в силу разных условий, страдает мелкой обидчивостью, болезненным самолюбием, странной готовностью в любом указании на его недостатки увидеть стремление задеть его самолюбие, унижить его достоинство. Это свойство характера особенно проявляется в семейных отношениях. Человек искренне страдает и действительно мучается от самых разумных и нужных замечаний. Как же нужно относиться к такому человеку? Щадить его, закрывать глаза на все то, что он делает неверно или неправильно, или мягко, но настойчиво стараться излечить его болезненное самолюбие? Безусловно — последнее. Галина Путилова действительно много страдала. Но страдала потому, что мелочная обидчивость мешала ей правильно воспринимать отношение к ней и Ларисы Дмитриевны и Дмитрия Путилова.

Мир искажается, если глядеть на него сквозь призму обывательской обидчивости. Галина Путилова чувствовала себя глубоко оскорбленной, и все добрые побуждения (а они ведь порождают и требовательность и взыскательность) были восприняты ею как непрерывная цепь оскорблений.

Как же следует поступить суду? Может ли суд сказать, что если Галина чувствовала себя оскорбленной, а Путиловы понимали, как Галина воспринимает их предложения, то они не должны были бы их делать? Такой ответ был бы неверным и в широком, общественном смысле. Суд всемерно охраняет достоинство советских людей. Попраение достоинства, унижение человека должно быть наказуемо. Но суд не может ставить знака равенства между чувством собственного достоинства и болезненным самолюбием. Оба эти чувства зачастую противостоят друг другу.



Оценивая свойства человека, мы пользуемся высоким эталоном — моральным кодексом коммунизма. И суд, как и общественность, не может брать под защиту обывательскую обидчивость.

Но как бы мы ни оценивали обиды Галины Путиловой, они все же привели к тяжелому семейному конфликту. Как же он произошел, этот конфликт?

Если обратиться к показаниям свидетелей Нормус, Шариковой и других, то причина конфликта станет совершенно очевидной. Дмитрий Путилов, работая референтом (а он последние два года занимает эти должности), был вынужден по роду своей службы реже бывать дома по вечерам: он обязан был повсюду сопровождать иностранных гостей. Путилов бывал с ними в театрах, бывал на банкетах. У Галины Путиловой это вызвало беспокойство и тревогу. Ей казалось, что вечерние отлучки Дмитрия Путилова не объясняются деловой необходимостью. Вспыхнула ревность, возникла тревога за устойчивость семьи. И тут Галина Путилова в силу свойств своего характера (пусть она меня простит, но это необходимо сказать) не нашла достойных форм для выражения своего недовольства и ревности. Вспыльчивая, несдержанная, склонная к истерическим проявлениям своего настроения, Галина делала то, что, к сожалению, еще изредка делается и другими, но никогда не приводит к желаемым результатам. Ссорами, попреками, семейными сценами, а то и открытыми скандалами Галина пыталась укрепить, как ей казалось, пошатнувшиеся семейные устои.

Галина Путилова прибегает к брани. Она охотно и многословно жалуется, она проверяет на работе — действительно ли нужно было Путилову вечером отлучиться? Она доходит до того, что позволяет себе ударить Путилова. Когда ее пытается образумить Лариса Дмитриевна, когда она пытается ей внушить, что она, Галина, не укрепляет, а разрушает свою семью, когда пытается подсказать ей достойные формы поведения, Галина проникается ненавистью и к Ларисе Дмитриевне. Она считает ее сообщницей своего сына, сообщницей в тех делах, которые вообще никем не совершались. Были случаи (и об этом показала сама Галина), когда она выгоняла Дмитрия из комнаты. Тогда, естественно, Лариса Дмитриевна пускала его в свою. И это казалось

Галине выпадом против нее. И Галине Путиловой мнилось, что Лариса Дмитриевна вооружает сына против его жены.

Дмитрий Путилов — человек слабохарактерный и мягкий. Он метался между осуждением Галины и жалостью к ней. Он не мог ни простить Галину, ни примириться с ее поведением. А это самое худшее из всего того, что мог сделать Дмитрий.

Мать уезжает и присылает сыну письмо. Умудренная жизнью и много в своей жизни перенесшая, мать пишет слова достойные и разумные. Она просит сына сделать выбор: или примириться с характером Галины, принять его и тем самым попытаться положить конец раздорам и конфликтам, или, если он считает, что Галина неисправима и отношения наладить невозможно, то нужно прийти к твердому решению оставить Галину. Жить в обстановке постоянных скандалов — недостойно.

Это письмо перехватывает Галина. Она дает читать его своим ближайшим подружкам. Мы спросили одну из них: считает ли она себя вправе читать чужие письма? Без тени смущения эта свидетельница ответила: «А как же иначе я могла узнать, что там написано?»

Письмо делает свое дело. Когда возвращается мать, Галина позволяет себе бросить в лицо старой женщине, матери ее мужа, отвратительнейшее оскорбление. Тогда, потрясенная оскорблением, Лариса Дмитриевна взмахнула находящейся у нее в руке тряпкой и ударила ею по лицу Галину. Вот и все жестокое обращение Ларисы Дмитриевны с Галиной! Вот то, что дало основание утверждать, что жестокое обращение Ларисы Дмитриевны с Галиной довело последнюю до самоубийства.

Да, Галине не сладко. Но что было тому причиной? Однажды Галина сумела на все взглянуть верным и точным взглядом и сказала свидетельнице Нормус: «Во всем виновата только я». Я не думаю, что в семейных конфликтах бывает так, что только одна сторона во всем виновата. Очевидно, слабый и мягкий характер, нерешительность Дмитрия тоже повинны в том, что скандалы разрастались.

Но вот наконец Дмитрий решается. Он заявляет Галине, что обращается в суд за разводом. Это требование развода Галина мучительно перенесла. Отец ее показывает: «Галя очень любила мужа, и развод ей был

тяжек». Свидетельница Нормус показала: «Когда Дмитрий Семенович заявил, что уйдет от нее, Галя впала в отчаяние». Наконец, сама Галина заявила врачу, что «хотела умереть, так как муж сказал, что оформит развод».

Если даже допустить, что намерение развестись с Галиной вызвало у последней такую тяжкую реакцию, что она стала думать о смерти и даже покушалась на самоубийство, то и в таком случае это не может быть расценено как доведение до самоубийства.

Можно с уверенностью сказать, что суд не добыл никаких доказательств жестокого и несправедливого обращения Дмитрия Путилова с Галиной Путиловой.

Следует поставить еще один вопрос: а была ли попытка покончить с собой? Галина Путилова приняла несколько порошков бромурала. Она была доставлена в больницу вечером и, как следует из записи в истории болезни, находилась в удовлетворительном состоянии. Наутро Галина была выписана с указанием, что в дальнейшей медицинской помощи она не нуждается.

Было установлено также, что бромурал не токсичен и то количество, которое она приняла, не могло вызвать не только смерти, но и никаких вредных последствий.

Знала ли Галина Путилова, что, принимая бромурал, она не подвергает себя опасности? Было ли это покушение заведомо с негодными средствами, или Галина Путилова ошиблась, добросовестно считая, что бромуралом она может отравиться? Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос и думаю, что получить на него бесспорный и абсолютно достоверный ответ невозможно. Но если не установлено с бесспорностью, что Галина Путилова хотела покончить с собой, то как же можно вменить в вину Путилову и его матери доведение Галины Путиловой до покушения на самоубийство?

Я просил бы, чтобы суд вспомнил, как подруги Путиловой высказали предположение, что Галина не хотела покончить с собой, а хотела просто испугать Дмитрия, сказать ему: «Вот ты оставляешь меня, поэтому я покончу с собой».

Принимая бромурал, она не столько хотела покончить с собой, сколько покончить с решимостью Дмитрия развестись с ней.

Предавая Ларису Дмитриевну суду по обвинению

в доведении до самоубийства, следствие не указало — в какой же зависимости находилась Галина Путилова от Ларисы Дмитриевны.

В последние годы они живут раздельным хозяйством. Между собой они никак не общаются, не разговаривают друг с другом. Лариса Дмитриевна ни в чем не зависит от Галины Путиловой. Ни в чем не зависит и Галина Путилова от Ларисы Дмитриевны. Само отсутствие зависимости их друг от друга исключает возможность вменить обвинение, которое предъявлено Ларисе Дмитриевне.

Если освободить дело от всего наносного, если анализировать материалы дела спокойно, то станет очевидным, что не доказана и сама попытка Галины покончить с собой. Но зато точно доказано, что ни Дмитрий Путилов, ни его мать не обращались жестоко с Галиной Путиловой. Обвинение, предъявленное Дмитрию Путилову и его матери, должно быть отвергнуто.

А что же будет с Галиной Путиловой? Вот вернуться домой оправданные Дмитрий Путилов и Лариса Дмитриевна, и Галине будет казаться, что читает она в их глазах укор: «Ты стремилась к тому, чтобы мы, невиновные, были осуждены, чтобы нас лишили свободы».

Все зависит от Галины Путиловой. Я хочу верить, что ваш приговор поможет ей понять, что нужно быть требовательной к себе, что нельзя добрые побуждения расценивать как стремление обидеть, что нужно преодолеть в себе мелкую обидчивость, что нужно избавиться от истеричности и что недостойные способы и приемы укрепления семьи не могут дать хороших результатов.

Я верю, что Галина Путилова вспомнит, что у нее есть ребенок и его необходимо воспитывать в достойной и разумной обстановке. Процесс должен сделать свое дело и помочь Галине Путиловой найти верную дорогу в жизни.

Дмитрий Путилов и его мать не виновны и должны быть оправданы. Об этом я прошу суд.

# ДЕЛО СЕРГАЧЕВА

## ВОЗВЕДЕНИЕ НА СЕБЯ ЛОЖНОГО ОБВИНЕНИЯ

Возвращаясь домой, Ирина Егоровна Кольцова подверглась нападению. На третьем этаже лестницы Кольцову догнал неизвестный человек, сбил ее с ног и, вырвав сумочку, в которой находилась полученная в тот день пенсия, скрылся. Никаких примет преступника потерпевшая не могла назвать. Но преступника быстро нашли, — убегая, он уронил библиотечную книгу «Железная пята» Джека Лондона. По формуляру установили абонента. Им оказался 16-летний школьник Виктор Сергачев. При первом же допросе Виктор Сергачев признал себя виновным. Сергачев был предан суду по обвинению в грабеже.

В судебном следствии Сергачев полностью признал себя виновным.

Некоторые обстоятельства дела давали основание предполагать, что признание Виктором своей вины является самооговором и Виктор возводит на себя ложное обвинение, чтобы избавиться от ответственности своего старшего брата Николая.

Судебное следствие подтвердило правильность этого предположения.

Дело слушалось в народном суде Дзержинского района. Определением суда дело направлено на исследование.

Было установлено, что Виктор Сергачев оговорил себя, возвел на себя ложное обвинение. Дело о нем было прекращено.

К уголовной ответственности был привлечен Николай Сергачев.

## *Товарищи судьбы!*

Нашему законодательству чужда декларативность. У нас не может быть такого положения, чтобы в законе провозглашалось прогрессивное начало, а судебная практика отвергала бы его и действовала вопреки ему и в обход его. Советский закон никогда не служил средством социальной мимикрии. У нас законы для того и издаются, чтобы их неукоснительно выполняли в полном соответствии с их духом и буквой.

Но это отнюдь не означает, что выполнение процессуальных законов не требует от суда значительных творческих усилий.

Процессуальный закон предъявляет к суду требование, которое на первый взгляд кажется невыполнимым, и тем не менее оно, как правило, выполняется. Закон требует, чтобы суд, прежде чем вынести приговор, составил отчетливое и полное представление о человеке, которого он судит, и дал бы ему верную и полную оценку. Верную и полную, иначе незачем ее и давать.

Но ведь нередко бывает, что суд слушает дело только один день, а то и несколько часов. Можно ли за это время распознать человека?

Скажи кто-либо, что, общаясь несколько часов с человеком, которого раньше не знал, он за такое короткое время успел составить мнение о незнакомце, мы вправе были бы отнестись весьма скептически к такому скороспелому методу раскрытия внутреннего мира человека.

Но суд не имеет права уклониться от своей обязанности дать оценку тому человеку, чью судьбу он решает. И суд, как правило, дает верную оценку. Перед судом подсудимый испытывает такую огромную нервную и эмоциональную перегрузку, такое напряжение, что он невольно раскрывается с наибольшей полнотой. Не в мелочах, не во второстепенных чертах характера, а в самом основном, в сути своей натуры. Как раскрывается человек в час опасности, в час подвига, в час, когда судьба приводит его к перепутью.

Суду сегодня предстоит ответить на вопрос: что за человек Виктор Сергачев, какова его подлинная суть? Ответить на этот вопрос будет нелегко. Виктор Сергачев все сделал для того, чтобы нам труднее было разобрать-

ся в нем, разглядеть его сущность. И делал он это не из страха, не из инстинкта самосохранения. Не было у Виктора Сергачева стремления припрятать худое в себе, нет! Если он что и скрывал в себе, то только то хорошее, что жило в нем, было присуще ему. Он словно боялся, что вот вы, товарищи судьи, увидите хорошее в нем и не поверите его признаниям, скажете: «Нет, не мог такой человек, как Сергачев, сотворить то, в чем он с такой готовностью признает себя виновным».

Если поверить, что в характере Виктора заложены добрые и чистые начала, то нельзя, просто невозможно допустить, чтобы он совершил преступление, в котором признался. Есть ведь такие дела, где нравственный облик подсудимого (только нравственный облик — и ничего больше!) является лучшим, самым убедительным, поистине неопровержимым доказательством невинности. Если «гений и злодейство — две вещи несовместимые», то чистота душевная Сергачева и то преступление, в котором он обвиняется, также несовместимы.

Бывает так, что неплохой, в общем, человек как-то оступится и под влиянием случайного и трудного стечения обстоятельств совершит преступление. Бывает! Но нужно прямо, ничего не смягчая, сказать: то преступление, в котором признал себя виновным Сергачев, нельзя совершить случайно, оступившись, заблуждаясь или даже поддавшись порыву. Его мог совершить только человек жестокий и циничный, для которого не существует моральных запретов.

Ирина Егоровна Кольцова, старая, больная женщина, пришла на почту за своей пенсией. Пенсия небольшая, но жить на нее можно. А отбери у Ирины Егоровны пенсию — и придет горькая нужда. Это ясно каждому. Но это не поколебало, не остановило преступника. Он видел, как немощная, старая женщина получает пенсию, видел и възграл духом: дело нетрудное, ведь у старушки легче забрать деньги, чем у молодого и сильного человека. «Легче!» — это все решило. «Легче!» — этого было достаточно, чтобы преступный умысел возник, окреп и осуществился. Тут не порыв, не игра смятенных чувств, не вспышка страстей, что иногда заглушает голос совести, нет! Тут продуманное, циничное по своей твердости решение: «Легко забрать, — значит, нужно забрать!»

Мысль и дело у преступника идут рядышком, они у него не расходятся.

Ирина Егоровна выходит из здания почты. Преступник за ней. Ирина Егоровна идет в магазин. И преступник туда же. «Старость ходит осторожно» и, прибавим от себя, медленно. Ирина Егоровна задержалась в магазине. К прилавкам и кассам очереди, и все их выстояла Ирина Егоровна, покупая самое необходимое: сахар, хлеб, масло. Преступник терпеливо ждет. Ведь есть же время одуматься! Если в голову забрела дикая, чудовищная мысль ограбить — отбрось ее, отвернись от нее. Есть еще время! Но нет, замысел преступника только крепнет.

Из магазина Ирина Егоровна направляется домой. Преступник следует за ней, тщательно выдерживая интервал. По дороге Ирина Егоровна встретила знакомую, остановилась, завязался неторопливый старушечий разговор. Преступник ждет. Он терпелив и настойчив: жертва от него не уйдет. Разговор двух женщин затянулся. И снова преступнику дана возможность опомниться, ужаснуться тому, что замыслил. Теперь самая пора одернуть, остановить себя: «Нет, нельзя старую женщину ограбить. Нельзя!» Но преступник испытывает лишь раздражение: «Калякают, а мне приходится ждать».

Разговор двух старушек кончился. Ирина Егоровна засемила к своему дому. Никакие предчувствия ее не томят. Она уверена в своей безопасности. Да и кто решится поднять руку на старую женщину?

А юноша, чья душа, казалось бы, должна быть открыта всему доброму и чистому, юноша с приветливым лицом и высоким лбом, юноша, который не знает нужды, идет вслед за старушкой, и только одно заботит и волнует его: не помешает ли какая-нибудь случайность напасть на старую? Юноше повезло: ничто ему не помешало, никто не помешал.

Он нагнал старушку на лестнице, одним ударом свалил ее с ног, вырвал сумку, в которой была пенсия, и убежал.

Преступник действовал в одиночку. Он не может сказать, что его кто-то подстрекнул, принудил пойти на преступление. Он прекрасно понимал отвратительность того, что задумал, и того, что совершил. И даже для себя самого он не может истолковать свои побуждения



так, чтобы они казались хоть чуточку лучше, чем были на самом деле.

Нападение на Ирину Егоровну Кольцову могло быть первым преступлением грабителя, но оно не могло быть первым отступлением от велений морали. Не может быть так, что человек живет честно и достойно и вдруг совершает такое преступление.

У того, кто напал на Ирину Егоровну, — глубокая, далеко зашедшая атрофия нравственности, катастрофически развивавшаяся моральная глухота. Все это признал и Виктор Сергачев. Вспомним его ответы.

— Вы понимали, что, отобрав у Кольцовой пенсию, вы обрекаете ее на нужду? — спросили Сергачева.

— Да, — ответил он односложно.

— Понимали ли вы, что, нанося удар Кольцовой на лестнице, вы ставили под угрозу не только ее здоровье, но, возможно, и жизнь?

— Да! — не раздумывая ответил Сергачев.

— Колебались ли в вашем замысле в течение того часа, что вы преследовали Кольцову?

— Нет! — решительно отверг Сергачев самую мысль о возможности колебания.

— На что вы хотели употребить пенсию Кольцовой?

— Я не подумал об этом! — ответил Сергачев.

Ответы Сергачева как бы исключают возможность сомневаться в его виновности. Цинизм преступления и бесстыдство ответов находятся в полном соответствии.

В преступнике, который так отвечает, нет ни стыда, ни совести и уж, конечно, раскаяния.

Нет раскаяния? Но что же тогда заставляет Сергачева быть таким безжалостным к себе? Он ведь понимает, какое впечатление создают его ответы. Зачем же он так отвечает? Правдивость может родиться из раскаяния. Но Сергачев ведь не раскаивается. Он отвечает как закоренелый преступник. Или... или как тот, кто хочет себя выдать за него. Как тот, кто боится, как бы не возникло сомнение, совершил ли он то преступление, в котором признался. И поэтому он нарочито, подчеркнуто демонстрирует цинизм, быть может даже несколько переигрывая.

Коль скоро я высказал это предположение, то нужно все сказать до конца: да, я считаю, что Виктор

Сергачев не совершил того преступления, в котором он признал себя виновным.

Но ведь Виктор Сергачев признал себя виновным на первом же допросе! Он признал себя виновным и на очной ставке с потерпевшей!

Виктора допрашивали в присутствии его матери. И тогда он подтвердил, что совершил преступление, в котором его обвиняют.

Он и на суде признал себя виновным. На суде при допросе Виктора присутствовали его школьные друзья, были и его учителя. И он, не колеблясь, зная, что они слышат каждое его слово, заявил: «Я полностью во всем виноват».

Можно ли при всем этом оспаривать вину Сергачева? Можно ли утверждать, что он оговорил себя, возвел на себя обвинение, в котором он не виноват, чтобы скрыть подлинного виновника, чтобы дать тому уйти от заслуженного наказания?

Я постараюсь привести доказательства того, что Виктор себя оговорил. Но прежде чем представить вам эти доказательства, разрешите мне поискать ответа на вопрос: на чем основано обвинение Сергачева?

На лестнице, где было совершено разбойное нападение на Ирину Егоровну, преступник уронил, очевидно не заметив этого, книгу — «Железную пяту» Джека Лондона. Книга оказалась библиотечной. Установить по формуляру, кто брал в библиотеке эту книгу, было совсем нетрудно. Выяснилось, что книга выдана абоненту библиотеки Виктору Сергачеву.

Улика? Конечно. Притом серьезная! И прямая! Но достаточна ли она?

В результате опроса отца и матери Виктора Сергачева установлено, что в библиотеке абонировался только Виктор, но книги он брал не для себя одного, а для всех членов семьи, в том числе и для своего сводного брата Николая Сергачева. Оба брата — старший Николай и младший Виктор, разница между ними всего в два года — читали почти всегда одни и те же книги и, уходя из дому, брали их с собой, чтобы читать в трамвае, в автобусе.

Книга, оброненная на лестнице, могла быть в руках Виктора? Могла! Но она могла быть и в руках у Николая.

Так кто же обронил эту книгу на лестнице?

Мне кажется, что я смогу дать ответ на этот вопрос, но об этом я скажу немного позже. Пока же позвольте только просить вас запомнить, что сведения, почерпнутые из библиотечного формуляра, сами по себе еще не являются уликой, тем более уликой прямой и достаточной.

Следствию удалось получить еще одну серьезную и прямую улику против Сергачева. Свидетельница Косякова, дворник дома, где живет Ирина Егоровна, видела, как из подъезда быстро вышел парень с женской сумкой в руке. Косякова видела парня со спины и опознать его не может. Но она хорошо запомнила, что на парне было серое пальто с кушаком. Виктор Сергачев как раз носит серое пальто с кушаком. Такое пальто и описывает Косякова.

Но только ли у него одного такое пальто? Нет! В суде было сделано то, что не было сделано следователем. Лидия Васильевна Сергачева на допросе показала: «Мы купили обоим сыновьям, и Николаю и Виктору, одинаковые пальто». «Серые?» — «Серые!» — «С кушаком?» — «С кушаком!»

Для опознания Виктор Сергачев был предъявлен свидетельнице Косяковой. Свидетельница опознать его не могла, но она показала, что тот, кто был в сером пальто и уходил с сумкой в руке, был, по ее мнению, выше ростом, чем Виктор. Из двух братьев Виктор ниже ростом.

Конечно, показания Косяковой о росте человека, который был в сером пальто с кушаком, не обладают большой доказательной силой. Это результат восприятия, которое может быть в силу различных обстоятельств искажено. Но думается, что в деле есть возможность установить: в чьих же руках свидетельница Косякова видела сумку Ирины Егоровны? К этому я еще вернусь.

Но сейчас я хотел бы направить ваше внимание на то, что в течение всего предварительного следствия никто — ни мать, ни отец Сергачевы, ни сам Виктор — не был опрошен о том, кто читает и кто, уходя из дому, берет с собой книги, полученные в библиотеке. Никто не был опрошен о том, носит ли кто-либо в семье Сергачевых, кроме Виктора, серое пальто с кушаком.

Как могло случиться, что эти вопросы не были выяснены? Как могло случиться, что серьезнейшими уликами было сочтено как раз то, что, может быть, устанавливает невинность Виктора?

На это ответить нетрудно. Для следствия было совершенно очевидно, было просто непререкаемо, что нападение совершил Виктор Сергачев. Откуда взялась эта уверенность? Из показаний самого Виктора. Разве он сразу, никем и ничем не понуждаемый, не признал себя во всем виновным? Ничего не утаивая, он все раскрыл. Зачем же было сомневаться и проверять то, что и без того ясно?

Вера в необоримую силу признания приняла даже несколько наивную форму. В течение первых пяти дней расследования Виктора Сергачева допрашивали восемь раз. В этом не было бы ничего удивительного, если бы по делу открывались новые обстоятельства и по ним нужно было бы получить объяснения Сергачева. Но ведь ничего нового по делу не открывалось. Все было установлено при первом же допросе. Допросы не вносили ничего нового, если говорить о существе дела. Все протоколы допроса, кроме, конечно, первого, начинались одной и той же фразой: «Свои предыдущие показания подтверждаю полностью». Читаешь эти протоколы допросов-близнецов и не можешь избавиться от впечатления, что эти допросы велись главным образом для получения подтверждения Сергачевым своей вины. Допросы велись так, как будто считалось, что однократное признание подсудимого в своей вине недостаточно, а вот восемь раз повторенное признание уже становится неопровержимым.

Восемь раз получено признание Сергачева в совершении им преступления, и ничего не сделано, чтобы объективно проверить обоснованность и правдивость этого признания. Позвольте проиллюстрировать эту мысль только одним примером, но достаточно выразительным.

Из показаний Ирины Егоровны и из справки, полученной на почте, видно, что у нее в сумке было немногим больше трехсот рублей<sup>1</sup>. Сергачев был арестован на следующий день после нагладения, и денег у него не

---

<sup>1</sup> В старом масштабе цен.

оказалось. Куда же он за одни сутки мог подевать триста рублей? На что мог их израсходовать ученик средней школы, 16-летний подросток? Сергачева, правда, спросили об этом, но спросили так, мимоходом, не придавая ответу большого значения, спросили так, словно вопрос сводится лишь к тому, прокутил ли школьник эти деньги или купил на них какие-либо вещички! А что, если этих денег у Виктора и вовсе не было? Ведь тщательно проверив, куда делись эти деньги, можно найти ответ и на вопрос, брал ли их вообще Сергачев, совершил ли он то преступление, в котором признался?

Сергачева спрашивают, куда делись триста рублей. Спрашивают формальности ради, без особого интереса. Сергачев соответственно и отвечает, отвечает, не напрягая воображения, нисколько не заботясь даже о правдоподобности ответа: «Израсходовал на личные нужды». Триста рублей меньше чем за сутки! И следствие этому не удивляется и в этом нисколько не сомневается. Сказал Сергачев «израсходовал», значит, так оно и есть. И ничего не сделано для того, чтобы проверить его показания, подтвердить или опровергнуть их объективными доказательствами.

Вот что делает вера в доказательственную силу признания, этой «царицы доказательств»!

В десятках, если не в сотнях, научных статей, в учебниках уголовного права и солидных монографиях, в множестве определений Верховных Судов Союза и Республики, в руководящих указаниях Пленума Верховного Суда<sup>1</sup> содержится категорическое, не допускающее кривотолков и разночтения требование: признание самого обвиняемого, не подтвержденное другими доказательствами, не может считаться достаточным доказательством его вины. Наше правосознание не перестает требовать от работников следствия и суда отказа от вредного, реакционного по сути своей и ошибочного представления, что признание вины является лучшим доказательством. Признание — не только не лучшее доказательство, оно вообще доказательством

---

<sup>1</sup> В настоящее время это требование изложено в Законе, в ст. 77 УПК РСФСР.

считаться не может, если не подтверждается другими доказательствами.

Все это отлично усвоено работниками следствия. Все единодушно признают, что нельзя опираться только на признание обвиняемым своей вины. Но, оказывается, провозглашать истины гораздо легче, чем им следовать.

Дело Сергачева вел опытный и добросовестный следователь. Если бы его спросили, каково доказательственное значение признания, он бы, не колеблясь, ответил: «Нулевое!» Нулевое, если оно больше ничем не подкреплено. И вот этот же следователь, получив признание Сергачева, оказался под гипнозом этого «доказательства» и больше ничего не смог увидеть. Не увидел он, что признание Сергачева не только ничем не подкреплено, но в значительной мере опровергается объективными доказательствами. Освобожденному от гипнотической власти признания Сергачевым своей вины, следователю было бы нетрудно узнать, в чьих руках был тот том Джека Лондона, который был обронен на лестнице. Следователь не мог бы пройти мимо одного весьма важного для решения этого вопроса обстоятельства: Виктор Сергачев не знал, что книга унесена из дому и обронена на лестнице, где было произведено нападение на Кольцову. Всего этого Виктор Сергачев не знал!

Как известно, на первом же допросе он во всем, ни от чего не отпираясь, не делая ни малейшей попытки умалить вину, признал себя виновным. Ко времени первого допроса в распоряжении следователя была оброненная книга. Но о ней молчал следователь до тех пор, пока не закончил свои объяснения Виктор. И только тогда следователь спросил Сергачева, что у него было в руках, когда он шел за Кольцовой, и тогда, когда напал на нее? И тут Сергачев, который так удивительно охотно во всем признавался, твердо сказал: «У меня в руках ничего не было!» Следователь затем задает вопрос, который должен был непременно побудить Сергачева сказать правду, если бы он и намеревался солгать. Следователь спросил: не было ли у Сергачева в руках книги? Тот, кто напал на Кольцову, имел в руках книгу. Тот, кто напал, оставил книгу на месте преступления. Тот, кто напал, не мог не тревожиться, понимая, какой страшной уликой явится книга. Тот, кто

напал, не мог забыть про книгу. И если бы Виктор Сергачев был тем, кто совершил нападение, то после вопроса следователя, он не мог не понять, что книга найдена и отпираться бесполезно. Да и зачем было ему отрицать, что у него книга была, если он не отрицает самого факта нападения?

Отрицать, что он потерял книгу, все признающий Виктор мог только в одном-единственном случае: если он не знал, что в руках нападавшего на Кольцову была книга и что тот ее потерял.

Книгу мог потерять на месте преступления только один из двоих: или Виктор, или его брат Николай. Виктор утверждает, что книги он не терял, что у него ее и не было в руках. Казалось бы, следствие не могло не проверить, была ли книга в руках у Николая. Но начать проверку — значило проявить хотя бы в самой малой степени сомнение в достоверности признания Виктора. Поэтому проверка не производилась.

Вера в силу признания привела к тому, что следователь не стал проверять и другое, весьма важное, обстоятельство: на ком же, в самом деле, было то серое пальто с кушаком, которое видела свидетельница Косякова?

Мы знаем, что следствию не удалось найти сумку Ирины Егоровны. Куда дел ее преступник? Виктор Сергачев показал, что он бросил ее в урну на улице Маяковского. Выйдя из подъезда после нападения на Кольцову, Виктор, по его показаниям, повернул направо по улице Некрасова, дошел до улицы Маяковского, пошел по ней и, сделав несколько шагов, выбросил сумку на улице в урну. На месте, указанном Виктором, сумку не обнаружили. Само собой разумеется, что это еще не может служить опровержением показаний Виктора Сергачева.

Но затем следствие получило показания свидетельницы Косяковой. Она давала их и в суде. Твердо и решительно свидетельница заявила, что парень в сером пальто с кушаком, которого она видела с сумкой в руках, выйдя из подъезда, пошел не направо, а налево. Он шел не к улице Маяковского, а в противоположную сторону, к улице Восстания.

Свидетельница показала, что она это помнит отчетливо и исключает возможность ошибки. Показаниями

свидетельницы установлено, что Виктор Сергачев неверно называет путь, которым шел тот, кто в действительности совершил нападение на Ирину Егоровну.

Почему Виктор неверно показывает путь? Ведь ему нет смысла лгать, вводить в заблуждение следствие по вопросу о том, в какую сторону он пошел после совершения преступления. Шел ли он по улице Маяковского или по улице Восстания — этот вопрос ничего не меняет в его положении, не облегчает и не отягощает его участи. Не помнить этого, добросовестно ошибаться Виктор не мог. Ведь после своего признания он выезжал вместе со следователем и понятым на место происшествия, вел их по пути, по которому, по его словам, он шел, и даже показал ту урну на улице Маяковского, в которую, как он пытался уверить, бросил сумку.

Виктор не мог забыть, в какую сторону он повернул.

Объяснить противоречие между показаниями свидетельницы и подсудимого можно только одним: Виктор просто не знал, в какую сторону пошел грабитель, выйдя из подъезда, а расспросить того, чью вину он принял на себя, Виктор не догадался. Поэтому-то он и не знал дороги. Как не знал, что у грабителя в руках была книга. Как не знал и того, что сделал грабитель с награбленными деньгами.

Совершить преступление и не знать, как оно совершено, — невозможно. Если бы Виктор Сергачев был допрошен о деталях того преступления, в котором он признался, то он тут же был бы изобличен в том, что взял на себя чужую вину. Но, даже не сопоставляя показания Виктора с фактическими обстоятельствами, что само по себе является недопустимым, можно было легко убедиться в самооговоре. Признание Виктора самым решительным образом опровергается его нравственными качествами, его моральным обликом. Не часто случается, что характеристика, данная в каком-либо официальном документе, могла бы спорить по степени убедительности и силе воздействия с художественным произведением. Человековедение — труднейшая из наук, и «характеристика, скрепленная подписью и печатью» — не ее метод. А вот в нашем деле характеристика Виктора «скреплена» 29 подписями, но впечатляющая ее сила необычайна.

Я говорю о том письме, которое школьные това-



риши Виктора направили в прокуратуру и суд. В этом письме девушки и юноши — десятиклассники — проявили и редкую сдержанность и высокое сознание ответственности. Памятливые, внимательные и зоркие, они все разглядели в Викторе, ничего не упустили и ничего не забыли. Они пишут только о фактах и делают из них выводы, с которыми нельзя не согласиться. Я не буду цитировать все письмо, хотя это и очень соблазнительно. И не столько тем, что в нем много хорошего сказано о Сергачеве, сколько тем, что в письме с особой силой проявлены замечательные черты, свойственные нашей молодежи: тревога за товарища, вера в правду и готовность за нее бороться, непримиримость к злу.

«Чтобы ограбить человека, — пишут десятиклассники, — грабитель должен быть жадным к деньгам или к тем возможностям, которые даются деньгами». «В Викторе, — заверяют ребята, — нет и соринки жадности». Точное слово нашли ребята: «соринка жадности». «От нас бы она не укрылась, — пишут они, — ведь мы с ним вместе 9 лет. Где только не были: на полевых работах, в спортивных лагерях, в Кавголово с лыжами сотни раз выезжали. Тут уж человек виден. Кто жаден — тот жаден, не скроешь этого. Виктор никогда о деньгах не думает. Вечеринки не любит, в кафе не ходит, несколько не пижонит (из песни слов не выбросишь, так они написали, и я не могу ничего изменить). Виктор ничего даже не коллекционирует. Как же может быть, чтобы его вдруг потянуло к деньгам? Да еще так, чтобы пойти на самую большую подлость?»

Когда соученики Виктора писали это письмо, они не знали того, что мы знаем сейчас. Виктор в самом деле ведь не мог объяснить, для чего ему понадобились деньги. Не мог объяснить потому, что такая надобность и не возникала.

В корыстных преступлениях обычно не ищут мотива: он виден из самого объекта преступления. Но в том преступлении, которое вменяется Сергачеву, нельзя не искать этого мотива. Пенсия, которая стала добычей грабителя, не могла так соблазнить Виктора, чтобы он пошел на преступление, да еще такое тяжкое!

Не искушенные в юридических тонкостях, школьники все же подметили очень точно: у Виктора не было побудительной причины для совершения преступления.

«Если бы Виктору нужны были деньги даже для того, чтобы спасти брата (постараемся не забыть это место из письма соучеников Виктора!), он бы все равно не мог ограбить старуху».

Это утверждение подростков может показаться фразой, рожденной добрым отношением к Виктору, а не объективным доказательством. Но, словно понимая это, юные авторы письма приводят факты, подтверждающие их мысль.

Письмо здесь оглашалось, факты сохранились в памяти, и я не стану их пересказывать. В общем, эти факты довольно обычны. Героической эпопеи из них не сделаешь, но школьники так хорошо их подобрали, что эти будничные каждодневные факты создают удивительно живой, необычайно достоверный образ. Виктор не героичен, не поставлен на котурны, не наделен какими-то сверхобычными достоинствами, нет! Но сквозь эти факты он видится земным, действительно добрым и ясным человеком. Такой всегда заступится за слабого, не позволит себе издеваться над ним, такой грабить старуху не станет.

Прочсть письмо и не поверить ему — нельзя, а поверить письму — значит признать, что Виктор не мог совершить того преступления, в котором признал себя виновным.

Но если Виктор «всегда за слабого заступится», то как же случилось, что он с первого дня следствия стал выгораживать преступника, стал избавлять его от ответственности? Ведь беря на себя чужую вину, Виктор этим самым помогает преступнику. Почему Виктор заодно не с жертвой, а с тем, кто напал на нее? Ведь если он такой, каким рисует его письмо, то выгораживание преступника тоже не в его характере. Да, это так! Не взял бы на себя чужую вину Виктор, не будь у него особых отношений с тем, кого он избавляет от ответственности.

Странные отношения сложились между сводными братьями, Николаем и Виктором Сергачевыми.

Судебное следствие много дало нам для того, чтобы понять эти отношения. Вспомним показания свидетелей Кустовой и Гринберг, друзей Николая, показания Валентины Федоровны Сергачевой, матери Виктора. Она давала показания очень сдержанно, и мы понимаем,

как трудно было ей их давать, потому что они могли быть обращены против Николая. К сожалению, из-за болезни Николая мы не могли допросить его самого. Но все же судебное следствие дало нам возможность разобраться в отношениях между сводными братьями.

Прав Николай Сергачев или не прав — это вопрос иной. Но в Николае все время жила, не затухая, не ослабевая, обида на Виктора. Николай считал, что Виктор виноват перед ним. Виноват в том, что со дня своего рождения он отобрал то, что больше всего нужно было Николаю, то, что больше всего дорого было Николаю, — отобрал у Николая любовь отца. О странном, пожалуй несколько даже патологическом, отношении Николая к Виктору нам рассказала свидетельница Кустова. «Я ненавижу Виктора, но я бы перегрыз горло каждому, кто посмел бы до него дотронуться пальцем», — так объяснял ей Николай свои чувства к брату.

«Странный, замкнутый, всегда копающийся в себе. Я называла его „самоедом“», — так сказала она о Николае.

Николай (есть ведь такие натуры), придумав, что с рождением Виктора он стал не только по документам, но и по чувствам пасынком для Валентины Федоровны, придумав, что и отец его перенес свою любовь на Виктора, не стал проверять свою выдумку, поверил в нее и почувствовал горькую обиду. Такие, как Николай, не избавляются от обиды и боли, ею приносимой, они словно берегут и холят ее, все время растрavляют ее в себе, не могут с ней расстаться.

Николай сумел не только самому себе внушить, что Виктор перед ним виноват, что Виктор многого его лишил. Он сумел внушить это и Виктору. И у Виктора, ни в чем не повинного перед Николаем, появилось это чувство вины. Трудно было об этом сказать Валентине Федоровне, но она нам это сказала. Об этом сказала нам и свидетельница Кустова.

Нельзя безнаказанно долго жить в чувстве мнимой обиды — оно иссушает сердце и толкает на неверный путь. Это подтвердилось и в случае с Николаем. В судебном следствии было выяснено, что за последнее время поведение Николая стало ухудшаться. Он совершал проступки, которые почти вплотную подходили к правонарушению. И Виктору казалось, что это он

виноват в этом, это он, отобравший, как уверял его Николай, семью у брата, толкнул его на неверный путь. Это не домысел и не предположение. Ведь не кто иной, как Виктор сказал свидетельнице Гринберг, когда она пожаловалась ему на грубости Николая: «Не сердись на него и поверь мне — во всем плохом, что делает Коля, гораздо больше виноват я».

«Железная пята», «серое пальто с кушаком», наконец, признание Виктора — да, оно тоже — приводят нас к выводу: ограбление Ирины Егоровны Кольцовой могло быть совершено или Виктором, или Николаем. И никем иным.

Когда же на следующее утро после нападения на Кольцову работники милиции пришли к Сергачевым, ни Николая, ни Виктора не было дома. Виктор был в школе.

Свидетельница Георгиевская показала, что она встретила Николая, когда он возвращался домой, и сказала ему: «У вас в квартире милиция». Николай молча повернулся и ушел. Он пошел к Виктору и вызвал его из школы. Это ведь и Виктор признал. И Виктор поспешил домой, зная, что там милиция.

Но никто нам не сказал, о чем говорили возле школы Николай с Виктором. Нам никто не сказал, зачем Николай, узнав, что в их квартире милиция, пошел в школу вызывать Виктора. Нам никто не сказал, почему Николай, направив Виктора домой, не пошел с ним.

Нам никто не сказал, что в тот день делал Николай, так и не вернувшись допоздна домой.

Нам никто ничего этого не сказал, и все же, думается, ответы на эти вопросы не трудно дать. Их должно искать следствие. И они будут найдены.

Виктор Сергачев ограбления не совершал. Грабителя можно и нужно найти. Только не нужно о грабителе спрашивать Виктора. Он не скажет.

А может быть и скажет. Если извлечет должный урок из своего дела. Поиск правды — трудное и сложное дело. И Виктор видел, что суд приложил все усилия, чтобы отыскать правду. Осторожно, вдумчиво, старательно велся поиск правды. И, быть может, Виктор все же поймет, что неправдой, какими бы побуждениями она ни вызывалась, жить нельзя. Неправда остается неправдой. И она будет выявлена в суде.

Мне остается ответить еще на один вопрос, который не может не возникнуть, хотя прямого отношения к разрешению дела Сергачева он не имеет.

Виктор Сергачев, чья защита мне поручена, хотел бы, чтобы его признали виновным. Он приложил для этого много стараний. Он стремился скрыть настоящего виновника. А я, защитник Виктора, действую против его воли и против того, что он считает своими интересами, препятствуя его стремлениям. Имею ли я на это право? Ведь действую я вопреки его желаниям и не имея на то его согласия. Вправе ли я так действовать?

Ответ на этот вопрос можно дать только исходя из общих начал деятельности адвоката. Адвокат не вправе ни при каких условиях, что бы он ни чувствовал, вредить своему подзащитному, ухудшать его положение, изобличать его в преступлении. «Не посеге» — не вредить — это обязанность защитника, нарушив которую, он перестает быть защитником, нарушая тем самым и требование закона.

Но значит ли это, что адвокат должен следовать за волей подзащитного, не проверяя, в какой мере она соответствует правде, морали и общественной пользе? Конечно нет. Неокрепший, еще не сформировавшийся подросток, Виктор Сергачев, поддавшись чувству жалости к брату, поддавшись ложной мысли о какой-то своей вине перед ним, возвел на себя ложное обвинение. Помочь ему в этом или даже того меньше — не помешать ему — означало бы действительно повредить ему, но вместе с тем и нанести урон правосудию. Каждый невинно осужденный — тяжелый урон для общества. Преступник, избавленный от законной ответственности, — угроза для общества. И я надеюсь, что Виктор поймет, что принятие на себя чужой вины — отнюдь не доблесть.

Поймет, не сможет не понять, когда вы это скажете ему своим приговором, которым вы оправдаете его, и своим определением, в котором вы укажете следствию, где нужно искать подлинного преступника.

# ДЕЛО СПИРОВА

## ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ

*(Речь во второй инстанции)*

М. К. Иваницкая, директор вагона-ресторана, вернувшись после очередного рейса, направлялась к себе домой. В подъезде ее подстерегал Ткачук, который двумя выстрелами из пистолета убил Иваницкую с целью завладеть выручкой ресторана. Но денег у Иваницкой с собой не оказалось, выручка была оставлена в сейфе в вагоне.

Вскоре Ткачук был задержан. После недолгого заpiresательства он сознался в совершенном преступлении и пояснил, что убил Иваницкую под влиянием и воздействием своего знакомого, Ивана Спирова, работавшего поваром в том же вагоне-ресторане, где директором была Иваницкая. По показаниям Ткачука, Спиров сообщил ему день и час возвращения Иваницкой и что выручку ресторана Иваницкая отнесет домой, назвал примерно размер выручки и потребовал, чтобы она была поделена поровну между ним, Спировым, и Ткачуком. Спиров отрицал свою вину, но изобличался показаниями Ткачука.

Спирову было предъявлено обвинение в том, что он явился организатором преступления, Ткачуку — в том, что он был исполнителем.

Дело слушалось в Ленинградском городском суде. Спиров был осужден на 15 лет лишения свободы.

Приговор был обжалован в Верховном Суде РСФСР.

Верховный Суд РСФСР отменил приговор в части, касающейся Спирова, и прекратил его дело за недоказанностью.

Приводится речь, произнесенная в Верховном Суде РСФСР (во второй инстанции).

## *Товарищи судьи!*

Основная мысль моей жалобы должна вызвать настороженное к ней отношение: ведь я прошу ни о чем другом, как о переоценке доказательств, переоценке полной и решительной. Я прошу вас признать, что суд первой инстанции ошибся в оценке доказательств: поверил тому подсудимому, которому нельзя было верить, и не поверил тому, кому нужно было поверить.

Настороженное отношение к моей жалобе должно усилиться, если вспомнить, что я прошу признать правдивыми показания Спирина, те самые, в которых он отрицает свою вину и которые могут вызвать подозрение, что они даются с целью уйти от ответственности. Ведь именно так их и расценила Судебная коллегия Ленинградского городского суда.

Я прошу о переоценке доказательств, несмотря на то что суд первой инстанции имеет несомненное преимущество перед кассационным судом в определении достоверности показаний. Ведь суду первой инстанции дана возможность непосредственного наблюдения над подсудимыми, суду, вынесшему приговор, легче судить о правдивости их показаний.

Понимая все это, я не имею никаких возражений против того, чтобы любой, а то и каждый из моих доводов встречался бы вами с некоторой долей скептицизма. Будет только справедливо, если каждый из моих доводов станет вами проверяться не только тщательно, но даже придирчиво. Ведь я прошу-то ни много ни мало, я прошу признать приговор судебной ошибкой! Но как бы ни проверялся каждый довод, важно, чтобы он проверялся и не был бы оставлен без оценки. Если я неправ в своей жалобе, пусть в вашем определении будет указано, в чем я ошибся. Я прошу об этом потому, что в приговоре самый основной, действительно решающий довод оставлен без какой бы то ни было оценки. Из приговора никак не видно, был ли этот довод в поле зрения суда, нет никаких следов того, что он как-то обсуждался.

Суд вправе отвергнуть любой довод, но он не может оставлять его без рассмотрения.

Да, доказательства оцениваются по убеждению судей, суду нельзя приписывать предустановленной оценки

доказательства и нельзя обязывать его распределять доказательства по какой-то предуказанной шкале значимости. Но ведь убеждение судей не вытекает из мистических, неподконтрольных разуму глубин подсознания. Убеждение судей должно быть основано на полном и всестороннем рассмотрении всех обстоятельств дела. Таково требование закона, статьи 71 Уголовно-Процессуального Кодекса. А вот в приговоре, вынесенном Спинову, обстоятельство, которое является ключом к делу, обстоятельство, которое только одно и может дать ответ на вопрос, кто из двоих, Ткачук или Спинов, говорит правду, это обстоятельство не только оставлено без оценки, но и без рассмотрения, так, словно его и не существует.

О каком обстоятельстве я говорю? Не преувеличиваю ли его значение? Может быть, это обстоятельство мелкое, незначительное, на него и в самом деле не стоит обращать внимания, а я открываю стрельбу из пушек по воробьям?

Проверим!

По приговору, Спинов — инициатор и вдохновитель преступления. Это он, Спинов, предложил Ткачуку убить Иваницкую, когда она будет возвращаться после рейса домой с деньгами — выручкой вагона-ресторана, это он сказал, сколько примерно будет денег у Иваницкой. Он, Спинов, показал Ткачуку, где жила Иваницкая, и сообщил день возвращения Иваницкой домой после рейса.

Ткачук подстерег Иваницкую в подъезде дома и убил ее. Но денег у Иваницкой не оказалось. Выручка была оставлена в сейфе вагона-ресторана.

Как же случилось, что жестокое и бесчеловечное преступление оказалось бесцельным? Как же случилось, что сведения Ткачука были неверными и Иваницкая выручку с собой не взяла?

Может быть, случайно, вопреки тому, что она делала обычно, Иваницкая оставила выручку в вагоне, и, не зная об этой случайности, Спинов, уверенный, что деньги Иваницкая возьмет с собой, подтолкнул Ткачука на убийство?

Нет, тут не было случайности.

На суде были допрошены все работники вагона-ресторана. Был допрошен и главный бухгалтер Треста вагонов-ресторанов. И с предельной точностью, не допу-



скающей никаких кривотолков, было установлено: по всегда соблюдавшемуся заведенному порядку Иваницкая в день своего убийства не должна была и не могла взять домой выручку. Она должна была оставить и оставила ее в сейфе вагона.

Дело в том, что весь штат вагона-ресторана совершает подряд два рейса. Под каждым рейсом понимается поездка из Ленинграда до места назначения и возвращение в Ленинград.

В Ленинград поезд возвращается около 4 часов ночи. После первого рейса Иваницкая — директор вагона-ресторана и Спилов — повар этого же ресторана, должны быть снова на месте в 9 часов утра, чтобы сдать выручку, отчет и принять продукты. Поэтому при возвращении с первого рейса выручку незачем относить домой, а затем обратно с ней возвращаться; выручку запирают в сейф и оставляют в вагоне, где кто-либо из работников несет дежурство.

Убийство было совершено, когда Иваницкая возвращалась домой после первого рейса. Ткачук мог всего этого не знать. Мог обмануться в расчете. Мог считать, что Иваницкая и после первого рейса относит домой выручку. Ткачук мог, наконец, не знать, первый или второй это был рейс у Иваницкой. Все это могло быть. Но только в одном-единственном случае — если Ткачук действовал один, если Спилов не был его соучастником. Если бы Спилов был соучастником Ткачука, он не мог бы допустить, чтобы Ткачук совершил разбойное нападение на Иваницкую тогда, когда у нее с собой не было денег.

А то, что у Иваницкой не было с собой денег, Спилов знал, не мог не знать.

Из допроса работников вагона-ресторана видно, что они все знали, когда и в каких случаях выручка хранится в сейфе, а когда относится домой. Все работники ресторана это знали, а Спилов и подавно все это знал. Ведь при нем не десятки, а сотни раз выручка сдавалась, при нем она запиралась в сейф и оставлялась в вагоне. Спилов неоднократно замещал директора и сам сдавал и оставлял выручку. Тут ведь не остается места даже для малейшего сомнения в том, знал ли Спилов порядок сдачи выручки. Нельзя не вспомнить и о том, что первым на предварительном следствии о порядке

сдачи и хранения выручки рассказал Спиров и задал тот самый вопрос, на который он так и не получил ответа: «Зачем бы я стал подговаривать Ткачука напасть на Иваницкую в тот день, когда я знал, что у нее нет денег?»

На этот вопрос следствие никак не ответило. Но от него нельзя отделаться молчанием. Если на этот вопрос не найден ответ, то это означает только одно: найдено неопровержимое доказательство непричастности Спирова к преступлению Ткачука.

Еще как-то можно было понять, почему следствие не дало ответа на этот вопрос, если бы даже не утверждалось, но хотя бы предполагалось, что Спиров, подстрекая Ткачука к убийству, преследовал какие-то иные цели, помимо стремления завладеть выручкой. В установленных по делу условиях пройти мимо того, что убийство было совершено в тот день, когда заведомо для Спирова у Иваницкой не было с собой денег, — для следствия значило выдать себе самому «свидетельство о несостоятельности».

В судебном следствии вопрос о том, в каких случаях выручка относится домой и в каких оставляется в вагоне, был исследован с необходимой полнотой. С той же обстоятельностью был исследован вопрос о том, знал ли штат о порядке хранения выручки и знал ли о том Спиров. Установив, что Спиров знал, что убийство, если оно будет совершено, будет бесцельным и ничего, кроме опасности разоблачения, не принесет, суд вменил в приговоре Спирову соучастие в убийстве с целью завладения выручкой.

Вот это и дает мне право просить вас признать, что суд оставил без оценки и даже без рассмотрения обстоятельство, которое, позвольте повторить, является ключом к делу и свидетельствует о том, что Спиров не был соучастником Ткачука.

Но, быть может, у суда были такие веские, такие неопровержимые доказательства виновности Спирова, что они позволили не принимать во внимание обстоятельства, устанавливающие непричастность Спирова к убийству?

Чем же суд обосновал осуждение Спирова?

Ответ дан в приговоре: показаниями Ткачука.

Ткачук — трижды судимый. После того как Ткачук

убил Иваницкую, он пришел к своей приятельнице Шевыревой и рассказал ей, что он — я оставляю его лексику нетронутой — «вытащил пустой номер». Так Ткачук называет убийство, из которого не удалось извлечь выгоды. Удрученный «пустотой номера» (только это и волновало Ткачука!), он предложил своей приятельнице «дать ему наколку». Так называет Ткачук адрес человека, посягательство на которого сулило бы выгоду. Казалось бы, Ткачука не так легко принять за прозрачный источник истины.

Но будем объективны: показания Ткачука, правда только в некоторых своих частях, получили объективное подтверждение. Отсюда суд и заключил: если показания Ткачука в некоторых частях подтверждаются, значит, — и тут суд сделал тот вывод, которого никак делать не следовало, — значит... и во всем остальном они верны.

Какие же показания Ткачука нашли объективное подтверждение?

Прежде всего то, что Спиров и Ткачук встречались друг с другом, иногда чаще, иногда реже, но встречались.

И Спиров и Ткачук признают, что оба служили в одной части. Там между ними завязалось знакомство, и они не прервали его, когда вернулись в Ленинград.

Ткачук признал, что бывал в доме у Спирова. В последнее время особенно зачастил, причем приходил, в большинстве случаев, когда самого Спирова не было дома, а была лишь его сестра. И Ткачук отнюдь не жалел, что он не заставал Спирова...

Итак, в том, что Спиров и Ткачук знакомы и встречались, соучастия еще никак не усмотришь.

Другая часть показаний Ткачука, которая на первый взгляд может показаться немаловажной уликой против Спирова, сводится к тому, что Ткачук не знал ни Иваницкой, ни ее адреса. На Иваницкую ему указал не кто иной, как Спиров, и он же, Спиров, не просто дал адрес, а показал даже дом, в котором Иваницкая жила. Эти показания Ткачука подтвердил Спиров, и они не вызывают сомнения в своей точности.

Да, Спиров показал и Иваницкую, и дом, где она жила. Но если не вырывать этих фактов из всей совокупности жизненных обстоятельств, в которых они про-

изошли, если глядеть на них непредубежденно, то станет очевидным, что никакой уликой они не являются и ни в чем Спирина не изобличают. Спирина еще на предварительном следствии, тогда, когда он первый высказал предположение, не является ли Ткачук убийцей, еще тогда он пояснил, что был такой случай: как-то он вместе с Ткачуком, проходя мимо дома Иваницкой, встретился с ней. Спирина остановился и о чем-то поговорил с Иваницкой. Когда он отошел от нее, Ткачук спросил: «Кто это?» Спирина ответил: «Мой директор, она в этом доме живет».

Бытовая деталь, незначительнейшее обстоятельство, равным счетом ничего не значащее, может, если воспринимать его явно предубежденно, принять форму улики, но уликой стать не может.

Ткачук утверждал, что без помощи Спирина он не мог бы узнать день возвращения Иваницкой в Ленинград. Не скажи ему Спирина, показывал Ткачук, он бы и не узнал часа возвращения Иваницкой. А он знал и день и час. И опять-таки это может показаться уликой.

Но стоит только эту улику, выдвинутую Ткачуком и признанную приговором убедительной, подвергнуть самой простейшей проверке, и она тут же на глазах распадается и исчезает.

Рейс длится четыре дня. Ткачуку достаточно знать день отъезда Спирина, чтобы, не прибегая к высшей математике, сообразить, в какой день вернется Спирина, а следовательно, и Иваницкая.

А чтобы узнать, когда уехал Спирина, не нужно и его спрашивать. Достаточно прийти с очередным визитом к сестре Спирина, спросить: «Где Ваня?» — и услышать: «Вчера уехал».

Итак, узнать день возвращения Иваницкой Ткачук мог и без того, чтобы Спирина был его соучастником.

А вот как быть с тем, что Ткачук знал и час возвращения Иваницкой?

Ткачук мог делать наивные глаза и вопрошать: «От кого я мог это узнать, как не от Спирина?» Пусть изображается наивность. Это его дело. Но ведь совершенно очевидно, что он не мог не знать того, что Иваницкая возвращается тогда же, когда возвращается и Спирина. Спирина возвращается тогда же, когда возвращается и Иваницкая.

Удивляться можно было бы другому, удивляться можно было бы, если бы Ткачук, бывая в доме у Спинова, встречаясь с ним, встречаясь с его сестрой, не знал бы, что после рейса возвращается Спинов на рассвете, если бы ни разу не услышал от Спинова: «Нет, сегодня никуда не пойду, выплуюсь, устал я от этих приездов на рассвете», или если бы сестра Спинова не сказала Ткачуку: «Спит Ваня, ведь на рассвете пришел».

Есть еще одна улика против Спинова, и не менее грозная, чем предыдущая: Спинов дал деньги Ткачуку для приобретения пистолета — орудия убийства Иваничкой. В некоторой части эти показания Ткачука подтверждены. Как утверждается приговором, так оно есть и на самом деле. Но в какой части подтверждены эти показания?

Только в той, что Спинов дал деньги Ткачуку, но взаймы. Но ведь самое главное не в том, что взаймы или безвозвратно даны деньги, важно, *для чего* они даны.

Спинов показывает: Ткачук рассказал, что ему необходимо помочь одной женщине сделать аборт, а денег у него сейчас нет. И Спинов дал их взаймы Ткачуку. Ткачук же заявляет, что деньги брал для покупки пистолета, но ничем этого подтвердить не может. Он, правда, признал, что действительно говорил об аборте, но денег — ни-ни — для этого не просил. Итак, вместо улики оказались словеса, и ничего больше, вместо доказательств — ничем не подкрепленные заявления Ткачука.

Суд отверг показания Спинова потому, что они направлены на самооправдание. Но разве показания Ткачука — единственное основание для признания Спинова виновным — не преследуют цели смягчения своей ответственности? Я не стану этого пространно доказывать. Достаточно обратиться к кассационной жалобе Ткачука и к выступлению здесь перед вами моего товарища по защите, поддерживавшего жалобу Ткачука. По существу, в этом выступлении только один довод и приводился, и развивался, и расцветивался: основной виновник — Спинов. Ткачук-де после трех судимостей твердо стал на стезю добродетели и шагал бы по ней безгрешный и просветленный. Но на беду повстречался ему Спинов, подмял под свою жестокую волю слабодушного Ткачука и не только побудил, но и понудил его

совершить преступление. Так как же не смягчить участи того, кто был понужден совершить преступление?

Стоит только отпасть ссылке на Спинова, и Ткачуку уж нечем будет защищаться. Вот почему Ткачуку очень нужно, до зарезу нужно, чтобы Спиров предстал вдохновителем и организатором преступления.

Я не буду касаться других доводов моей жалобы. Основная ее мысль была сейчас изложена перед вами. Суд обошел молчанием, но обошел и вниманием решающее доказательство невинности Спинова и поверил показаниям осужденного Ткачука, которые веры не заслуживают, признал уликами против Спинова обстоятельства, которые ни в чем Спинова не уличают. Метод оценки доказательств, к которому прибег суд, не отвечает требованиям закона.

Исследование доказательств не было полным, так как под исследованием следует понимать не только установление обстоятельств дела, но и определение их направленности, значимости для дела. Установив обстоятельство, полностью исключающее виновность Спинова, суд никак не определил значимость этого обстоятельства при разрешении дела.

Исследование обстоятельств не было всесторонним. Всестороннее исследование дела означает исследование всех доказательств в их совокупности, в их неразрывной связи, в неизбежном устранении противоречий, если в них находятся доказательства. Суд не устранил противоречия между своими выводами и теми доказательствами, которые были установлены на следствии.

Исследование не было объективным, ибо протекало в условиях не критического восприятия показаний Ткачука.

Спиров осужден в условиях, когда судом добыты доказательства его невинности. Это не только дает мне право, но и обязывает меня просить вас об отмене приговора в части, касающейся Спинова, и о прекращении его дела за недоказанностью.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Юрий Герман. Слово об авторе . . . . .</i>	3
Дело Ковалева. Доведение до самоубийства . . . . .	7
Дело Кудрявцевой. Убийство из мести . . . . .	31
Дело Т. М. и С. М. Грачевых. Заведомо ложный донос (Речь представителя гражданского истца) . . . . .	46
Дело Ланского. Злоупотребление служебным положе- нием . . . . .	61
Дело Даниловой. Соучастие в криминальном аборте .	77
Дело Бугрова. Соучастие в кражах и грабеже . . . . .	89
Дело Поповой. Преступная небрежность . . . . .	99
Дело Левчинской. Убийство из ревности . . . . .	113
Дело Геркина. Крупное хищение . . . . .	124
Дело Пуликова. Убийство с корыстной целью . . . . .	144
Дело Иволгина. Получение взятки должностным лицом	165
Дело Путиловых. Доведение до самоубийства . . . . .	184
Дело Сергачева. Возведение на себя ложного обвине- ния . . . . .	196
Дело Спирова. Организация разбойного нападения (Речь во второй инстанции) . . . . .	213

*Яков Семенович Киселев*

**СУДЕБНЫЕ РЕЧИ**

*Редактор В. С. Зайцев*

*Художник П. И. Лавров*

*Технический редактор В. А. Преснова*

*Корректор И. В. Левтонова*



Сдано в набор 31/VIII 1966 г. Подписано к печати 22/XI 1966 г.  
Формат бумаги  $84 \times 108 \frac{1}{32}$ . Физ. печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,76.  
Уч.-изд. л. 11,94. Тираж 35 000 экз. М-11984. Заказ № 1404

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59  
Гипография имени Володарского Лениздата, Фонтанка, 57

Цена 35 коп.

35 коп.